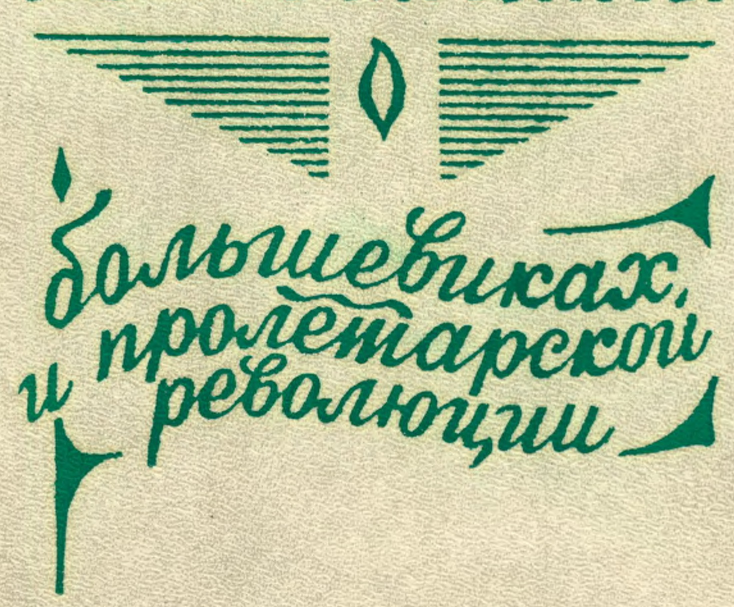

Белоэмигранты
о
большевиках
и пролетарской
революции

Книга I

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

в воспоминаниях

придворных, генералов, монархистов и членов временного правительства

ПЕРМЬ, 1991 г.

Печатается по изданию:
Революция и гражданская война
в описаниях белогвардейцев.
Составил С. А. Алексеев. В 5-ти томах.
Госиздат, М. — Л., 1926 год

Редактор Э. А. Наугольных

Сдано в набор 27.12.90. Подписано в печать 28.02.91. Формат 84×108[1]/32. Бум. офс. кн.-журн. Гарнитура школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,25. Тираж 50 000 экз. Заказ № 38. Цена 8 руб.
Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Издатель: СП Интер-ОМНИС
МП Компания АКВАРЕЛЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Февральская революция произошла стихийно. Столетиями назревавший кризис в российской жизни, бурный рост промышленности, а отсюда и пролетариата. Полярные противоречия между трудом и капиталом. Рост самосознания масс. Распадение сельской общины, крестьянское малоземелье центральных губерний при огромной территории страны. Давно накапливаемый интеллектуальный потенциал страны не совмещавшийся с идейной узостью монархического строя.

К началу XX века в стране возникло огромное количество партий самых разных направлений и призывов. От придворных группировок, монархистов и черносотенцев до большевиков, максималистов и левоэсеровских боевиков-террористов, страна бурлила.

Мировая война, в которую Россию втянули определенные круги англо-французской дипломатии с тайной целью ее ослабления. Неприятие необходимости войны в ее официальных империалистических претензиях (освобождение славянских народов Европы, захват Черноморских проливов и Константинополя) при росте беспорядков и на без того огромной территории ускорили кризис отживающего свой исторический «век» монархического строя.

Трехлетняя кровавая бойня на фронтах, нарастание голода в столицах и больших городах, огромные богатства дворцов на фоне нищеты городских окраин, усиленная пропаганда партий против власти императора привели в конце к массовым забастовкам и всеобщему восстанию.

Большевики участвовали, но не были ведущей партией в февральской революции. Их активная деятельность нарастала от февраля к октябрю. Затем уже их обвиняют в узурпации власти, ликвидации свободы слова и печати. Лучшее оправдание их действиям заключается в воспоминаниях самих поверженных революцией представителей господствующих слоев общества.

Сборник подобран из второго издания книги С. А. Алексеева, изданной Госиздатом СССР в 1926 году. С целью объективной оценки революции тогда много издавалось воспоминаний как друзей, так и врагов партии и рабочего класса. Запрет вышел позднее, в тридцатые годы.

Здесь представлены:

А. Вырубова — придворная дама, приятельница императрицы Александры Федоровны. Через нее в основном императрица поддерживала связь с Г. Распутиным (Новых).

Княгиня Палей — жена великого князя Павла Александровича, сына Александра II, дяди последнего императора. Павел Александрович — образованный человек, писатель, ученый — был в оппозиции двору, считая, что пришло время перехода на конституционную, ограниченную монархию. В силу традиции русского двора Николай II сопротивлялся этому, считая, что монархия может быть просвещенной, но абсолютной власти император лишаться не может, не имеет права.

В. В. Шульгин — талантливый журналист, член 4-й Государственной думы по убеждению монархист. Ему вместе с А. И. Гучковым было поручено принять отречение Николая II от престола.

Н. П. Карабчевский — адвокат, типичный либерал. Его воспоминания интересны, как характерный показатель чувств и настроений, которые пробудила в буржуазных кругах Февральская революция.

А. Ф. Керенский — юрист, трудовик, активный участник Февральской революции. С лета семнадцатого года глава Временного правительства России (председатель кабинета министров).

А. И. Деникин — генерал, активный организатор белогвардейского движения, после гибели генерала Корнилова — главнокомандующий добровольческой армией Юга России.

А. С. Лукомский — генерал, после Февральской революции начальник главного (генерального) штаба при Главнокомандующем вооруженными силами России (до ареста). Корниловец. Активный белогвардеец.

М. И. Смирнов — сослуживец и соратник адмирала А. В. Колчака, будущего Верховного правителя России, которого Февральская революция застала на посту командующего Черноморским флотом.

Составитель Г. В. Наугольных

А. Вырубова-Танеева

Царская семья во время революции

I. Убийство Распутина. Царские министры

Через два дня после нашего возвращения из Новгорода, именно 17 декабря, началась «бескровная революция» убийством Распутина. 16 декабря днем государыня послала меня к Григорию Ефимовичу Распутину отвезти ему икону, привезенную ею из Новгорода. Я не особенно любила ездить на его квартиру, зная, что моя поездка будет лишний раз фальшиво истолкована клеветниками.

Я оставалась минут 15, слышала от него, что он собирается очень поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову знакомиться с его женой Ириной Александровной. Хотя я знала, что Распутин часто виделся с Феликсом Юсуповым, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно, но он ответил мне, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий Ефимович сказал мне странную фразу: «Что еще тебе нужно от меня, ты уже все получила...».

Вечером я рассказала государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной Александровной. «Должно быть, какая-нибудь ошибка, — ответила государыня, — так как Ирина в Крыму, и родителей Юсуповых нет в городе». Потом мы начали говорить о другом.

Утром 17 декабря ко мне позвонила одна из дочерей Распутина (которые учились в Петрограде и жили с отцом). Она сообщила мне с некоторым беспокойством, что отец их не вернулся домой, уехал поздно вечером с Феликсом Юсуповым. Известие это меня удивило, но в данную минуту особенного значения я ему не придала. Приехав во дворец, я рассказала об этом государыне. Выслушав меня, она выразила свое недоумение. Через час или два позвонили во дворец от министра внутренних дел Протопопова, который сообщал, что ночью полицейский, стоявший на посту около дома Юсуповых, услышав выстрел в доме, позвонил. К нему выбежал пьяный Пуриш-

кевич и заявил ему, что Распутин убит. Тот же полицейский видел военный мотор без огней, который отъехал от дома вскоре после выстрелов. Государыня приказала вызвать Лили Дэн (жену морского офицера, с которой я была очень дружна и которую государыня очень любила). Мы сидели вместе в кабинете императрицы, очень расстроенные, ожидая дальнейших известий. Сперва звонил великий князь Дмитрий Павлович, прося позволения приехать к чаю в пять часов. Императрица, бледная и задумчивая, отказала ему. Затем звонил Феликс Юсупов и просил позволения приехать с объяснением то к государыне, то ко мне; звал меня несколько раз к телефону; но государыня не позволила мне подойти, а ему приказала передать, что объяснение он может прислать ей письменно. Вечером принесли государыне знаменитое письмо от Феликса Юсупова, где он именем князей Юсуповых клянется, что Распутин в этот вечер не был у них. Распутина он действительно видал несколько раз, но не в этот вечер. Вчера у них была вечеринка, справляли новоселье и перепились, а уходя, в. кн. Дмитрий Павлович убил на дворе собаку. Государыня сейчас же послала это письмо министру юстиции. Кроме того, государыня приказала Протопопову продолжать расследование дела и вызвала военного министра генерала Беляева (убитого впоследствии большевиками), с которым совещалась по этому делу.

На другой день государыня и я причащались в походной церкви Александровского дворца. Государыня не пустила меня вернуться к себе, и я ночевала в одной из комнат на 4 подъезде Александровского дворца.

Жуткие были дни. 19 утром Протопопов дал знать, что тело Распутина найдено. Полиция, войдя в дом Юсуповых на следующее утро после убийства, напала на широкий кровяной след у входа и на лестнице и на признаки того, что здесь происходило что-то необычайное. На дворе они в самом деле нашли убитую собаку, но рана на голове не могла дать такого количества крови... Вся полиция в Петрограде была поднята на ноги. Сперва у проруби на Крестовском острове нашли галошу Распутина, а потом водолазы наткнулись на его тело: руки и ноги были запутаны веревкой; правую руку он, вероятно, высвободил, когда его кидали в воду, пальцы были сложены крестом. Тело было перевезено в Чесменскую богадельню, где было произведено вскрытие. Несмотря на многочисленные огнестрельные раны и огромную рваную рану

в левом боку, сделанную ножом или шпорой, Григорий Ефимович, вероятно, был еще жив, когда его кинули в прорубь, так как легкие были полны водой.

Когда в столице узнали об убийстве Распутина, все сходили с ума от радости; ликованию общества не было пределов, друг друга поздравляли: «Зверь был раздавлен», — как выражались, — «злого духа не стало». От восторга впадали в истерику.

Во время этих манифестаций по поводу убийства Распутина, Протопопов спрашивал совета ее величества по телефону, где его похоронить. Впоследствии он надеялся отправить тело в Сибирь, но сейчас же сделать это не советовал, указывая на возможность по дороге беспорядков. Решили временно похоронить в Царском Селе, весной же перевезти на родину. Отпевали в Чесменской богадельне, и в 9 часов утра в тот ж день (кажется, 21 декабря) одна сестра милосердия привезла на моторе гроб Распутина. Его похоронили около парка, на земле, где я намеревалась построить убежище для инвалидов. Приехали: их величества с княжнами, я и два или три человека посторонних. Гроб был уже опущен в могилу, когда мы пришли; духовник их величеств отслужил краткую панихиду, и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая: хоронили даже не на кладбище. Сразу после краткой панихиды мы уехали. Дочери Распутина, которые совсем одни присутствовали на отпевании, положили на грудь убитого икону, которую государыня привезла из Новгорода. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось. Государыня не плакала часами над его телом, и никто не дежурил у гроба из его поклонниц.

Ужас и отвращение к совершившемуся объяли сердца их величества. Государь, вернувшись из ставки 20 числа, все повторял: «Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обагрены кровью мужика».

Их величества были глубоко оскорблены злодеянием, и если они раньше чуждались великих князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь их отношения совсем оборвались. Их величества ушли как бы в себя, не желая ни слышать об них, ни их видеть.

Но Юсуповы и компания не окончили своего дела. Теперь, когда все их превозносили, они чувствовали себя героями. В. кн. Александр Михайлович отправился к министру юстиции Добровольскому и, накричав на него,

стал требовать от имени великих князей, чтобы дело это было прекращено. Затем, в день приезда государя в Царское Село, сей великий князь явился со старшим сыном во дворец. Оставив сына в приемной, он вошел в кабинет государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия по делу убийства Распутина; в противном случае оба раза он грозил чуть ли не падением престола. Великий князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь говорил после, что он не смог сам оставаться спокойным, до такой степени его возмутило поведение великого князя; но в минуту разговора он безмолвствовал. Государь выслал великих князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, а также Феликса Юсупова из Петрограда. Несмотря на мягкое наказание, среди великих князей поднялась целая буря озлобления. Государь получил письмо, подписанное всеми членами императорского дома, с просьбой оставить в. кн. Дмитрия Павловича в Петрограде по причине его слабого здоровья. Государь написал на нем только одну фразу: «Никому не дано право убивать». До этого государь получил письмо от в. кн. Дмитрия Павловича, в котором он, вроде Феликса Юсупова, клялся, что он ничего не имел общего с убийством.

Расстроенный, бледный и молчаливый, государь эти дни почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить его. Через несколько дней государь принес в комнату императрицы перехваченное министерством внутренних дел письмо княгини Юсуповой, адресованное великой княгине Ксении Александровне. Вкратце содержание письма было следующее: «Она (Юсупова), как мать, конечно, грустит о положении своего сына, но «Сандро» (в. кн. Александр Михайлович) спас все положение; она только сожалела, что в этот день они не довели свое дело до конца и не убрали всех, кого следует... Теперь остается только «ее» запереть. — По окончании этого дела, вероятно, вышлют Николашу и Стану (в. кн. Николая Николаевича и Анастасию Николаевну) в Першино, их имение... Как глупо, что выслали бедного Николая Михайловича!»

Государь сказал, что все это так низко, что ему противно этим заниматься. Императрица все поняла. Она сидела бледная, смотря перед собой широко раскрытыми глазами... Принесли еще две телеграммы их величествам. Близкая их родственница «благословляла» Феликса на

патриотическое дело. Это постыдное сообщение совсем убило государыню; она плакала горько и безутешно, и я ничем не могла успокоить ее.

Я ежедневно получала грязные анонимные письма, грозившие мне убийством и т. п. Императрица, которая лучше нас всех понимала данные обстоятельства, как я уже писала, немедленно велела мне переехать во дворец, и я с грустью покинула свой домик, не зная, что уже никогда туда не возвращусь. По приказанию их величеств с этого дня каждый шаг мой оберегался. При выездах в лазарет всегда сопутствовал мне санитар Жук; даже по дворцу меня не пускали ходить одной, не разрешили присутствовать и на свадьбе дорогого брата.

Мало-помалу жизнь во дворце вошла в свою колею. Государь читал по вечерам нам вслух. На рождество были обычные елки во дворце и лазаретах; их величества дарили подарки окружающей свите и прислуге; но великим князьям в этот год они не посылали подарков. Несмотря на праздник, их величества были очень грустны: они переживали глубокое разочарование в близких и родственниках, которым ранее доверяли и коих любили, и никогда, кажется, государь и государыня всероссийские не были так одиноки, как теперь. Преданные их же родственниками, оклеветанные людьми, которые в глазах всего мира назывались представителями России, их величества имели около себя только несколько преданных друзей да министров, ими назначенных, которые все были осуждены общественным мнением. Всем им ставилось в вину, что они были назначены Распутиным. Но это сущая неправда.

Штормер, назначенный премьером, был рекомендован государю еще после убийства Плеве. Он принадлежал к старому дворянству Тверской губернии, а не был из немецких выходцев. Он много лет прослужил при дворе, так что государь хорошо его знал, считал его за порядочного, хотя и недалекого человека, который не изменит своим убеждениям. Полагаю, государь назначил его за неимением под руками кого-либо другого, будучи занят в то время исключительно войной.

Протопопов был назначен лично государем под влиянием хорошего впечатления, которое он произвел на его величество после его поездки за границу в должности товарища председателя Государственной Думы. Ее величество, получая ежедневно письма от государя из ставки, однажды прочла мне письмо, в котором говорилось о Про-

топопове, представлявшемся государю по возвращении из-за границы в ставке. Государь писал о прекрасном впечатлении, которое произвел на него Протопопов, и (как всегда — под впечатлением минуты, что характеризовало все его назначения) что он думает назначить его министром внутренних дел. «Тем более, — писал государь, — что я всегда мечтал о министре внутренних дел, который будет работать совместно с думой...». Протопопов, выбранный земствами, — товарищ Родзянко. Я не могу забыть удивление и возмущение государя, когда начались интриги; однажды за чаем, ударив рукою по столу, государь воскликнул: «Протопопов был хорош и даже был выбран думой и Родзянко делегатом за границу; но стоило мне назначить его министром, как он считается сумасшедшим!» Под влиянием интриг Протопопов стал очень нервным, а мне казался, кроме того, очень слабохарактерным. Во время революции он сам пришел в думу, где его и арестовали по приказанию Родзянко. А позже он был убит большевиками. Протопопов дружил с Распутиным. Дружба его имела совершенно частный характер. Распутин за него всегда заступался перед их величествами, но это и все.

Н. Маклакова государь в первый раз встретил во время Полтавских торжеств, в бытность Маклакова черниговским губернатором. После длинного разговора с ним на пароходе государь решил назначить его министром вн. дел. Государь был им очарован и говорил: «Наконец, я нашел человека, который понимает меня и с которым я могу работать». Доклады Маклакова были радостью для государя, он никогда не тяготился приездами его в Крым или на «Штандарт» и воодушевлялся, занимаясь с ним. Но настало время, когда в. кн. Николай Николаевич и другие стали требовать его удаления, и, по рассказам самого Маклакова, которые мне передавали, государь лично ему об этом сообщил на докладе. Маклаков расплакался... Он был один из тех, которые горячо любили государя не только как царя, но и как человека, и был ему беззаветно предан. По желанию в. кн. Николая Николаевича Маклакова сменил князь Щербатов, начальник коннозаводства, которое было близко и знакомо ему, как кавалеристу. Но, несмотря на протекцию в. кн., он остался на посту всего только два месяца, так как оказался малосведущим в делах министерства вн. дел.

Щербатова заменил Хвостов. Государь знал о нем как об энергичном губернаторе, и еще в 1911 году, после убий-

ства Столыпина, он прочил его в министры вн. дел. Во время войны Хвостов был правым членом думы, стал произносить громовые речи против немецкого засилья. Государь взял его, сказав, что «уж его в шпионстве не заподозрят». Хвостов производил неприятное впечатление. С первых же дней он познакомился с Распутиным, надеясь посредством этого знакомства приобрести доверенность их величеств. Он спаивал его, заставляя его выпрашивать всевозможные милости. Когда же тот наотрез отказался, решился с помощью своего товарища Белецкого и известного расстриженного монаха Илиодора устроить покушение на Распутина. Последний выдал обоих, министра и его товарища, прислав со своей женой все документы и телеграммы Хвостова. После этого он был отстранен от должности.

Ген. Сухомлинова государь уважал и любил его до его назначения военным министром. Блестяще проведенная мобилизация в 1914 году доказывает, что Сухомлинов не бездействовал. Главными его врагами были: в. кн. Николай Николаевич, генерал Поливанов и знаменитый Гучков. Многие усматривали в походе против военного министра во время войны дискредитирование власти государя, находя, что эта интрига еще опаснее для престола, чем сказки о Распутине. Сухомлинову приписывалось бесконечное множество злодеяний. По проискам его врагов и клеветников и думы, генерала Сухомлинова арестовали еще при государе и заключили в крепость. Затем во время революции судили и приговорили к пожизненной каторге.

2. Революция и отречение Николая II

Последующие два месяца после убийства Распутина государь оставался в Царском Селе. Он был поглощен заботами о войне, и их величества глубоко верили в ее блестящее окончание. О мире, повторяю, ничего не хотели слышать, были планы и надежды победоносно окончить войну весной, так как сведения о тяжелом продовольственном положении в Турции и Германии подтверждались. С середины декабря до конца февраля было затишье на фронте, и государь находил свое присутствие в ставке излишним. Он получал каждый день к вечеру сведения по прямому проводу. В биллиардной государя были военные карты; никто не смел входить туда: ни императрица, ни дети, ни прислуга. Ключи находились у госу-

даря. Когда начались снежные заносы, вопрос о продовольствии сильно волновал их величества.

В это же время в. кн. Александр Михайлович писал письмо за письмом, требуя свидания с императрицей для личных объяснений. Писал он и в. кн. Ольге Николаевне о том же. Императрица сперва не хотела принять его, зная, что начнется разговор о политике, Распутине и т. д. Кроме того, она заболела. Так как в. кн. настаивал на свидании, то государыня приняла его, лежа в кровати. Государь хотел быть в той же комнате, чтобы в случае неприятного разговора не оставить ее одну. Нового великий князь ничего не сказал, но потребовал увольнения Протопопова, ответственного министерства и устранения государыни от управления государством. Государь отвечал, как рассказывал после, что пока немцы на русской земле, он никаких реформ проводить не будет. В. кн. ушел чернее ночи и вместо того, чтобы уехать из дворца, отправился в большую библиотеку, потребовал себе перо и чернила и сел писать письмо. Окончив, он передал письмо на имя в. кн. Михаила Александровича и отбыл.

На другой день приехал ко мне герцог Александр Георгиевич Лейхтенбергский. Взволнованный, он просил меня передать его величеству просьбу, от исхода которой, по его мнению, зависело единственное спасение царской семьи, а именно: чтобы государь потребовал вторичной присяги ему всей императорской фамилии. Я ответила тогда, что я не могу об этом говорить с их величествами, но умоляла его сделать это лично. О разговоре государя с герцогом Александром Георгиевичем, одним из самых благородных людей, я узнала от государыни только то, что государь сказал ее величеству: «Напрасно Сандро так беспокоится о пустяках! Я не могу обижать мою семью, требуя от них присяги!»

Боялись ли, что государь догадается о серьезном положении, не знаю, но стали торопить его уехать на фронт, чтобы потом совершить величайшее злодеяние. Девятнадцатого или двадцатого февраля к государю приехал великий князь Михаил Александрович и стал доказывать ему, что в армии растет большое неудовольствие по поводу того, что государь живет в Царском и так долго отсутствует из ставки. После этого разговора государь решил уехать. Недовольство армии казалось государю серьезным поводом спешить в ставку, но одновременно он и государыня узнали о других фактах, глубоко возмутивших их и которые их сильно обеспокоили. Государь за-

явил мне, что он знает из верного источника, что английский посол сэр Бьюкенен принимает деятельное участие в интригах против их величеств и что у него в посольстве чуть ли не заседания с князьями по этому случаю. Государь добавил, что он намерен послать телеграмму королю Георгу с просьбой воспретить английскому послу вмешиваться во внутреннюю политику России, усматривая в этом желание Англии устроить у нас революцию и тем ослабить страну ко времени мирных переговоров. Просить же об отозвании Бьюкенена государь находил неудобным: «Это слишком резко», — как выразился его величество.

На другой день утром, придя к государыне, я застала ее в слезах. Она сообщила мне, что государь уезжает. Простилась с ним, по обыкновению, в зеленой гостиной государыни. Императрица была страшно расстроена. На мои замечания о тяжелом положении и готовившихся беспорядках государь мне ответил, что прощается не надолго, что через десять дней вернется. Я вышла потом на четвертый подъезд, чтобы увидеть проезжавший мотор их величеств. Он промчался на станцию при обычном трезвоне Федоровского собора.

Мне в этот день очень нездоровилось. Утром я с трудом занималась в моем лазарете. Несмотря на сильный жар, на другой день, 22 февраля, я превозмогла себя и встала к обеду, когда приехала моя подруга Лили Дэн. Вечером императрица с девочками пришла к нам, но у меня сильно кружилась голова, и я еле могла разговаривать. На следующий день императрица нашла, что у меня появились подозрительные пятна на лице, привела доктора Боткина и Полякова, которые определили корь в очень сильной форме; заболела и в. к. Татьяна Николаевна. Дорогая императрица, забыв все свои недуги, одев белый халат, разрывалась между детьми и мною.

Вспоминаю, что в полусне я видела государыню постоянно возле моей постели: то она приготовляла питье, то поправляла подушки, то говорила с доктором. Подозрительно стали кашлять Мария и Анастасия Николаевны. В полузабытьи я видела родителей и сестру и помню, как долетали до меня их разговоры с государыней о каких-то беспорядках и бунтах в Петрограде, но о первых днях революции и восстании резервных полков я вначале ничего не знала. Знаю одно, что, несмотря на все происходившее, государыня была вполне спокойна и мужественно выслушивала все доходившие до нее известия.

Когда моя сестра пришла и рассказывала государыне происходившее в Петрограде, говоря, что пришел всему конец, императрица только улыбнулась и старалась успокоить мою сестру.

Ее величество рассказывали мне после, что преданный им князь Павел Александрович первый привез ей официальное известие о революции... Революция в стране во время мировой войны!.. И тут ее величество не потеряла присутствия духа. Сознавая, что ничего спасти нельзя, она никого из министров не вызывала и к посольствам с просьбой о защите ее и детей не обращалась, а с спокойствием и достоинством прощалась с приближенными, которые понемногу все нас покидали.

Никогда не забуду ночи, когда немногие верные полки (сводный, конвой его величества, гвардейский экипаж и артиллерия) окружили дворец, так как бунтующие солдаты с пулеметами, грозя все разнести, толпами шли по улицам ко дворцу. Императрица вечером сидела у моей постели. Тихонько, завернувшись в белый платок, она вышла с Марией Николаевной к полкам, которые уже готовились покинуть дворец.

На следующий день полки с музыкой и знаменами ушли в думу, гвардейский экипаж — под командою в. кн. Кирилла Владимировича: те же полки, те же люди, которые накануне приветствовали государыню: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» — Караулы ушли; по двору бродили кучки революционных солдат, которые с интересом все рассматривали, спрашивая у оставшихся слуг объяснения. Особенно их интересовал Алексей Николаевич. Они ворвались к нему в игральную, прося, чтобы им его показали. Императрица продолжала оставаться спокойной и говорила, что опасается только одного: чтобы не произошло кровопролития из-за их величеств.

Дня два-три мы не знали, где государь. Наконец, пришла телеграмма, в которой он просил, чтобы ее величество и дети выехали к нему. В то же время пришло от Родзянки по телефону «приказание» ее величеству с детьми выехать из дворца. Императрица ответила, что никуда ехать не может, так как это для детей грозит гибелью; на что Родзянко ответил: «Когда дом горит — все выносят!». О предполагаемом отъезде императрица пришла сказать мне вечером, она советовалась с доктором Боткиным, как перевезти меня в поезд; врачи были

против поездки. Мы все-таки приготовились ехать, но ехать не пришлось.

Во время всех этих тяжких переживаний пришло известие об отречении государя. Я не могла быть с государыней в эту ужасную минуту и увидела ее только на следующее утро. Мои родители сообщили мне об отречении. Я была слишком тяжело больна и слаба, так как в первую минуту почти не соображала, что случилось. Лили Дэн рассказывала мне, как в. кн. Павел Александрович приехал с этим страшным известием и как после разговора с ним императрица, убитая горем, вернулась к себе, и госпожа Дэн кинулась ее поддержать, так как она чуть не упала. Опираясь на письменный стол, государыня повторяла: «Отрекся». «Мой бедный дорогой страдает совсем один... Боже, как он должен страдать!» Все сердце и душа государыни были с ее супругом; она опасалась за его жизнь и боялась, что отнимут у нее сына. Вся надежда ее была на скорое возвращение государя: она посылала ему телеграмму за телеграммой, умоляя его вернуться как можно скорее. Но телеграммы эти возвращались ей с телеграфа с надписью синим карандашом, что «местопребывание адресата неизвестно». Но и эта дерзость не поколебала ее душевного равновесия.

Дни проходили, и не было известия от государя. Ее величество приходила в отчаяние. Помню, одна скромная жена офицера вызвалась доставить государю письмо в Могилев и провезла благополучно; как она проехала и прошла к государю — не знаю.

В первый вечер после перехода дворца в руки революционных солдат мы услышали стрельбу под окнами. Камердинер Волков пришел с докладом, что солдаты забавляются охотою в парке на любимых диких коз государя. Жуткие часы мы переживали. Пока кучки пьяных и дерзких солдат расхаживали по дворцу, императрица уничтожала все дорогие ей письма и дневники и собственноручно сожгла у меня в комнате шесть ящиков своих писем ко мне, не желая, чтобы они попали в руки злодеев.

* * *

Наше беспокойство о государе окончилось утром девятого марта. Я лежала еще больная в постели, доктор Боткин только что посетил меня, как дверь быстро отворилась, и в комнату влетела госпожа Дэн, вся раскрас-

невшаяся от волнения. «Он вернулся!» — воскликнула она и, запыхавшись, начала мне описывать приезд государя, без обычной охраны, но в сопровождении вооруженных солдат. Государыня находилась в это время у Алексея Николаевича. Когда мотор подъехал ко дворцу, она, по словам госпожи Дэн, радостная выбежала навстречу царю; как пятнадцатилетняя девочка, она быстро спустилась с лестницы и бежала по длинным коридорам. В эту первую минуту радостного свидания, казалось, было позабыто все пережитое и неизвестное будущее... Но потом, как я впоследствии узнала, когда их величества остались одни, государь, всеми оставленный и со всех сторон окруженный изменой, не мог не дать воли своему горю и своему волнению и как ребенок рыдал перед своей женой.

Только в четыре часа дня пришла государыня, и я тотчас поняла по ее бледному лицу и сдержанному выражению все, что она в эти часы вынесла. Гордо и спокойно она рассказала мне обо всем, что было. Я была глубоко потрясена ее рассказом, так как за все двенадцать лет моего пребывания при дворе я только три раза видела слезы в глазах государя. «Он теперь успокоился, — сказала она, — и гуляет в саду; посмотри в окно!» Она подвела меня к окну. Я никогда не забуду того, что увидела, когда мы обе, прижавшись друг к другу, в горе и смущении выглянули в окно. Мы были готовы сгореть от стыда за нашу бедную родину. В саду, около самого дворца, стоял царь всея Руси, и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее, 6 вооруженных хулиганов, которые все время толкали государя то кулаками, то прикладами, как будто он был какой-то преступник, прикрикивая: «Туда нельзя ходить, господин полковник, вернитесь, когда вам говорят!» Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец.

В то время я еще была очень больна и едва держалась на ногах; у меня потемнело в глазах, и я лишилась чувств. Но государыня не потеряла самообладания. Она уложила меня в постель, принесла холодной воды, и, когда я открыла глаза, я чувствовала перед собой ее и чувствовала, как она нежно мочила мне голову холодной водой. Нельзя было вообразить, видя ее такой спокойной, как глубоко была она потрясена всем, виденным в окно. Перед тем, как меня покинуть, она сказала мне, как ре-

бенку: «Если ты обещаешь быть умницей и не будешь плакать, то мы придем оба к тебе вечером».

И в самом деле, они оба пришли после обеда, вместе с госпожой Дэн. Государыня и госпожа Дэн сели к столу с рукоделием, а государь сел около меня и начал мне рассказывать. Государь Николай II был доступен, конечно, как человек, всем человеческим слабостям и горестям, но в эту тяжелую минуту его глубокой обиды и унижения я все же не могла убедить себя в том, что восторжествуют его враги; мне не верилось, что государь, самый великодушный и честный из всей семьи Романовых, будет осужден стать невинной жертвой своих родственников и подданных. Но царь с совершенно спокойным выражением глаз подтвердил все это, добавив еще, что «если бы вся Россия на коленях просила его вернуться на престол, он бы никогда не вернулся». Слезы звучали в его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым он больше всех доверял и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола. Он показал мне телеграммы Брусилова, Алексеева и других генералов, членов его семьи, в том числе и Николая Николаевича: все просили его величество на коленях, для спасения России, отречься от престола. Но отречься в пользу кого? В пользу слабой и равнодушной думы? Нет, в собственную их пользу, дабы, пользуясь именем и царственным престижем Алексея Николаевича, правило бы и обогащалось выбранное ими регентство!.. Но, по крайней мере, этого государь не допустил! «Я не дам им моего сына, — сказал он с волнением. — Пусть они выбирают кого-нибудь другого, например, Михаила, если он почтет себя достаточно сильным!»

Я жалею, что не запомнила каждое слово государя, когда он рассказывал о том, что происходило в поезде, когда прибыли депутаты из думы с требованием его отречения.

Когда государь с государыней Марией Федоровной уезжал из Могилева, взорам его представилась поразительная картина: народ стоял на коленях на всем протяжении от дворца до вокзала. Группа институток прорвала кордон и окружила царя, прося его дать им последнюю памятку: платок, автограф, пуговицу с мундира и т. д. Голос его задрожал, когда он об этом говорил. «Зачем вы не обратитесь с воззванием к народу, к солдатам?» — спросила я. Государь ответил спокойно: «Народ сознавал свое бессилие, а ведь тем временем могли бы

умертвить мою семью. Жена и дети — это все, что у меня осталось! Их злость направлена против государыни, но ее никто не тронет, разве только перешагнув через мой труп»... На минуту дав волю своему горю, государь тихо проговорил: «Нет правосудия среди людей». И потом прибавил: «Видите ли, это все меня очень взволновало, так что все последующие дни я не мог даже вести своего дневника».

Я поняла, что для России теперь все кончено. Армия разложилась, народ нравственно совсем упал, и моему взору уже преподносились те ужасы, которые нас всех ожидали. Все же не хотелось терять надежды на лучшее, и я спросила государя, не думает ли он, что все эти беспорядки непродолжительны. «Едва ли раньше двух лет все успокоится», — был его ответ. Но что ожидает его, государыню и детей? Этого он не знал. Единственно, что он желал и о чем был готов просить своих врагов, не теряя своего достоинства, это — не быть изгнанным из России. «Дайте мне здесь жить с моей семьей самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб, — говорил он, — пошлите нас в самый укромный уголок нашей родины, но оставьте нас в России». Это был единственный раз, когда я видела русского царя подавленным случившимся; все последующие дни он был спокоен.

Ежедневно я смотрела из окна, как он сгребал снег с дорожки, как раз против моего окна. Дорожка шла вокруг лужайки, и князь Долгорукий и государь разгребали снег навстречу друг другу: солдаты и какие-то прапорщики ходили вокруг них. Часто государь оглядывался на окно, где сидели императрица и я, и незаметно для других улыбался нам или махал рукой. Я же в одиночестве невыносимо страдала, предчувствуя новое унижение для царственных узников. Императрица приходила ежедневно днем; я с ней отдыхала, она была всегда спокойна. Вечером же их величества приходили вместе. Государь привозил государыню в кресле, так как к вечеру она утомлялась. Я начала вставать; мы сидели у круглого стола; императрица работала, государь курил и разговаривал, болел душой о гибели армии с уничтожением дисциплины.

Комендантом дворца был назначен некий П. Коцебу, бывший офицер уланского ее величества полка, за некрасивые истории оттуда прогнанный. Я знала его с детства и была рада, что он, а не другой был назначен, так как у него было скорее доброе сердце, и он любил их

величества. Он часто заходил ко мне, отвез даже письма моим родителям в Петроград и первый предупредил меня о готовящемся моем аресте, сообщив, что меня увезут, как только я поправлюсь. Ее величество была в ужасе и умоляла Коцебу оказать содействие к тому, чтобы меня не трогали, доказывая ему, что я больная женщина и что разлука со мной в эту тяжелую минуту была бы равносильна разлуке с одним из ее детей. Коцебу отвечал уклончиво, — да он ничего и не мог сделать.

21 марта я с утра очень нервничала, я узнала, что Коцебу не пропускают солдаты во дворец, вероятно, за его гуманное отношение к арестованным, а тут еще доктора принесли мне из ряду вон выходящую газетную статью, в которой говорилось, будто я с доктором Бадмаевым, которого, между прочим, не знала, «отравляю государя и наследника». Императрица вначале сердилась на грязные и глупые статьи в газетах и с усмешкой мне сказала: «Собирай их для своей коллекции».

Около часу вдруг поднялась суматоха в коридоре, слышны были быстрые шаги. Я вся похолодела и почувствовала, что это идут за мной. И сердце меня не обмануло. Перво-наперво прибежал наш человек Евсеев с запиской от государыни: «Керенский обходит наши комнаты, — с нами Бог». Через минуту Лили, которая меня успокаивала, сорвалась с места и убежала. Вошел потом скороход и доложил, что идет Керенский. Окруженный офицерами, в комнату вошел с нахальным видом маленького роста бритый человек, крикнув, что он министр юстиции и чтобы я собралась ехать с ним сейчас в Петроград. Увидав меня в кровати, он немного смягчился и дал распоряжение, чтобы спросили доктора, можно ли мне ехать; в противном случае обещал изолировать меня здесь еще на несколько дней. Граф Бенкендорф послал спросить доктора Боткина. Тот, заразившись общей паникой, ответил: «Конечно, можно». Я узнала после, что государыня, обливаясь слезами, сказала ему: «Ведь у вас тоже есть дети, как вам не стыдно!» Через минуту какие-то военные столпились у дверей, я быстро оделась с помощью фельдшерицы и, написав записку государыне, послала ей мой большой образ Спасителя. Мне в свою очередь передали две иконы на шнурке от государя и государыни с их подписями на обратной стороне. Как мне хотелось умереть в эту минуту!..

Я была настолько слаба, что меня почти на руках снесли к мотору; на подъезде собралась масса дворцовой

челяди и солдат, и я была тронута, когда увидела среди них несколько лиц плакавших. В моторе, к моему удивлению, я встретила Лили Дэн, которая мне шепнула, что ее тоже арестовали. К нам вскочило несколько солдат с винтовками.

Через несколько минут мы очутились в царском павильоне (на Царскосельском вокзале), в комнате, где я так часто встречала их величества. Нас ожидал министерский поезд — поезд Керенского. По приезде в город нас заставили пройти мимо Керенского, который сидел с каким-то господином и иронически на нас смотрел; нас посадили в придворное ландо, которое теперь обслуживает членов Временного правительства.

Помню, каким мрачным нам показался город; везде беспорядочная толпа солдат; у лавок — длинные очереди, а на домах — везде грязные красные тряпки. Подъехали к министерству юстиции. Там — высокая, крутая лестница, — было трудно подыматься на костылях. Ноги тряслись от слабости. Офицеры привели нас в комнату на третьем этаже без мебели, с окном во двор; после внесли два дивана; грязные солдаты встали у двери. Я легла, усталая и убитая горем. Темнело...

Вечером влетел Керенский и спросил Лили, став спиной ко мне, топили ли печь. Не помню, что она ответила; он вышел. Нам принесли чай и яйца и затопили печь. Стоявший у двери солдат Преображенского полка оказался добрым и участливым. Он жалел нас и, когда не было посторонних, вечером и ночью бранил новые порядки, говоря, что ничего доброго не выйдет. Мы не спали, ночь тянулась, нам было холодно и страшно...

Мои воспоминания о русской революции

1

Мы приехали в Царское Село 25 ноября старого стиля 1916 г., и, едва попали в наш милый и прекрасный дом, как великий князь получил большую, но, увы, последнюю радость. Он был назначен кавалером ордена св. Георгия при обширном высочайшем рескрипте, где были превосходно освещены все его заслуги.

Но меня весьма удивило и удивляет то, что государь, видевший великого князя двое суток тому назад, сам не сообщил ему об этой новости.

Подобное отличие являлось в России заветной мечтой каждого военного.

Мой муж не забыл обещания, данного великому князю Александру. Семейный совет состоялся у князя Андрея в его дворце на Английской набережной. Там было решено, что князь Павел, как старейший в роде и любимец их величества, должен взять на себя тяжелую обязанность говорить от имени всех. Князь был крайне озабочен. Он совершенно ясно отдавал себе отчет в том, насколько трудна и неблагодарна возложенная на него задача и как мало у него шансов на успех. Тем не менее, как только императорская фамилия 3/16 декабря прибыла в Царское Село, он попросил аудиенцию и был принят в тот же день за чаем.

Я ждала его два долгих часа, не находя места от волнения. Наконец, около семи часов вечера он пришел, бледный и утомленный. «На мне нет сухой нитки, — едва мог он выговорить, — и я окончательно потерял голос». Действительно, он охрип. Несмотря на сильное желание поскорее узнать все, я упросила его отдохнуть и отложить подробный отчет о своем разговоре. И только после обеда, за которым присутствовали девочки с гувернанткой, князь сообщил мне и Владимиру о том, что говорилось во дворце. Сейчас же после чая князь начал обрисовывать государю мрачную картину современного положе-

ния, он рассказал о немецкой пропаганде, которая с каждым днем становится все более смелой и нахальной, о ее развращающем влиянии на армию, в которой беспрестанно арестовывают зачинщиков и сеятелей смуты, иногда даже офицеров. Он указал, насколько велико возбуждение в общественных кругах Москвы и Петрограда, где раздаются все более смелые голоса, слышится все более резкая критика. Он говорил о недовольстве народа, принужденного уже в продолжение нескольких месяцев стоять в «хвостах», чтобы получить хлеб, цена на который возросла втрое. Наконец, он подошел к пункту, наиболее щекотливому, о котором труднее всего было говорить, — тем более что князь, истинный патриот, желал только счастья родине и в данном случае приносил в жертву свои личные убеждения и традиции. Он сказал, что собравшийся фамильный совет возложил на него обязанность почтительнейше просить его величество даровать конституцию, «пока еще не поздно!». Это будет служить доказательством того, что государь предупреждает желание своего народа. «Вот, — сказал в. кн. воодушевляясь, — вот великолепный случай для этого: через три дня — шестое декабря, — Николин день, объяви в этот день, что дарована конституция, что Штюрмер и Протопопов отстранены, и ты увидишь, с каким восторгом и любовью твой верный народ будет приветствовать тебя». Государь некоторое время оставался в раздумьи; государыня отрицательно качала головой; затем, стряхнув утомленным жестом пепел со своей папироски, он произнес следующие слова: «То, о чем ты меня просишь, невозможно. В день своей коронации я присягал самодержавию, и я должен передать эту клятву нерушимой своему сыну». Видя, что он потерпел неудачу с этой стороны и что всякая новая попытка ни к чему не приведет, князь приступил к другому вопросу. «Хорошо, если ты не можешь дать конституцию, дай, по крайней мере, министерство доверия, так как — я тебе это опять говорю — Протопопов и Штюрмер ненавистны всем». В этот момент, набравшись мужества, в. князь объявил, что назначение этих двух министров тем более подвергается критике, что все знают о том, что оно сделано под влиянием Распутина. Затем великий князь сказал государю и государыне о том злополучном влиянии, которое не без основания приписывается старцу. Государь замолчал и курил, не произнося ни слова. Тогда заговорила государыня. Она говорила долго, волнуясь, часто прижимая

руку к сердцу, которое у нее болело. Для нее Распутин был только жертвой клеветы и зависти тех, которые хотели бы стать на его место. Для нее это был друг, молившийся Богу за них и ее детей. Что же касается того, чтобы угодить некоторым личностям, министрам, об этом нечего даже и думать. В. князь потерпел неудачу во всех направлениях, так на все, о чем он просил, был дан решительный отказ. Я очень желала, чтобы подобные разговоры больше не происходили, потому что боялась за нервы и слабое здоровье в. князя.

Шестого декабря, в день тезоименитства государя, великий князь был принят во дворце, как будто не было и тени никакого разговора. Это — печальный и памятный день 6/19 декабря, когда столько надежд было обмануто, потому что носились слухи, что государь прочтет думе манифест если не о конституции, то, по меньшей мере, о министерстве доверия. Он, конечно, не сделал ни того, ни другого и 7/20 декабря вместе с в. кн. уехал в ставку.

II

Когда в. князь уехал, я с новым жаром принялась за работу в госпитале. Жены офицеров, дамы, жившие в Царском Селе и даже в Петрограде, собирались вокруг меня. Наши разговоры за чаем все время вертелись вокруг текущих событий, и внутренняя политика страны являлась часто их темой. Рассказывали, что Протопоповым, страдавшим специфической болезнью, овладевали иногда приступы настоящего безумия. Будучи некогда лидером левой*, он внезапно переменил свои политические взгляды, найдя более выгодным стать на сторону правительства. Он был презираем и ненавидим всеми. Его подозревали в том, что он ездил в Стокгольм для того, чтобы вести предварительные переговоры с Люциусом и германскими банкирами о сепаратном мире. А общественное мнение в данный момент, в полном согласии с их величествами, было за войну до победного конца. Так как Протопопов был обязан своим быстрым повышением Распутину, то убеждение, что этот последний был платным агентом Германии, возрастало. Это-то убеждение и привело к драме во дворце Юсупова в ночь на 16/29 де-

---

* Под «левой» автор, очевидно, подразумевает думский «прогрессивный блок», в числе лидеров которого был и Протопопов.

кабря, — драме, о которой я расскажу то, что знала о ней в то время, и которую я считаю началом революции.

В субботу вечером 17/30 декабря был концерт в Царскосельской управе. В. князь был в Могилеве еще с 7/20 декабря, а Владимир, страдая болезнью горла, не мог его сопровождать. Чувствуя себя в этот вечер лучше, он попросил разрешения идти со мной на концерт. Около восьми часов вечера раздался звонок телефона, и, несколько минут спустя, Владимир ворвался в мой будуар с криком: «Старец мертв, мне только что сообщили об этом по телефону; боже мой, теперь можно будет вздохнуть свободно! Еще не знают о подробностях. Во всяком случае, он исчез из дому уже сутки тому назад. Может быть, нам удастся узнать что-либо на концерте». Никогда я не забуду этого вечера! Никто не слушал ни оркестра, ни артистов. Новость распространялась с быстротой молнии. Во время антракта я заметила, что взгляды особенно часто останавливались на нас, но я была слишком далека от истины, чтобы понять причину. Наконец, Яков Ратьков-Рожнов подошел ко мне и, говоря, очевидно, на тему дня, сказал мне: «Кажется, виновниками этого поступка являются люди из высшей аристократии, называют Феликса Юсупова, Пуришкевича и... одного великого князя...» Сердце у меня сжалось, — я знала, что существовала давнишняя дружба между в. князем Дмитрием и князем Юсуповым, женатым на прелестной русской княжне Ирине, двоюродной сестре Дмитрия. «Боже мой, только бы это не был он», — пробормотала я. Владимир возвратился ко мне с теми же подробностями, и к концу вечера имя великого князя Дмитрия было у всех на устах. Мы возвратились домой около половины первого, и лакей, ждавший нас, сказал мне, что из Петрограда звонила по телефону жена князя Виктора Кочубея и умоляла позвонить ей, как бы поздно ни было. Как только меня соединили с княгиней, она спросила меня: «Где твой сын Владимир?» — «Здесь, со мной», — ответила я в изумлении. — «Слава богу! Прошел слух, что это он убил Распутина, и я дрожала за тебя; прощай, спокойной ночи». Очевидно, народная молва смешала двух единородных братьев. На другой день доктор Варавка, который лечил Владимира, пришел навестить нас и, смеясь, рассказал, что на вопрос: «Арестован ли Владимир?» он ответил: «Да, по моему приказанию, так как у него сильная ангина, и вот уже восемь дней, как он не выходил из комнаты».

На следующий день, в воскресенье, вся Россия и весь свет узнали, что Распутин исчез. Его семья, беспокоясь от того, что он долго не возвращается, и зная, что князь Юсупов увез его к себе, дала знать в полицию. С другой стороны, выстрелы, раздавшиеся во дворце на Мойке и услышанные прохожими и городовыми, направили подозрение в эту сторону. Государыня, охваченная страшной тревогой, отдала самые строгие приказания во что бы то ни стало найти тело Распутина. Все почитательницы последнего были в состоянии неописуемой ярости. Я несколько раз звонила Дмитрию и, не говоря о том, что о нем везде трубят, держала его в курсе всего, что говорилось. Мой муж должен был вернуться на следующий день, в понедельник. В 11 часов я приехала на Царскосельский вокзал, чтобы встретить его и отвезти домой. Едва мы остались одни в автомобиле, как он спросил меня: «Что это за слухи об убийстве старца? Кто его убил? Вчера в Могилеве называли графа Стенбока?» Видя мой растерянный вид, мое волнение, он взял меня за руку и сказал: «Ну, что такое? Скажи, что с тобой? да говори же...» Я, едва дыша, пробормотала: «Говорят, что это Феликс Юсупов, Пуришкевич и потом... Дмитрий». В. князь так побледнел, что я думала, что ему сделается дурно. «Это невозможно. Я сейчас же вернусь, сяду на поезд и поеду к Дмитрию, я хочу поговорить с ним. Мне, как отцу, он скажет все». Я приложила все старания, чтобы убедить его отдохнуть, переодеться и поговорить с в. князем Дмитрием по телефону или заставить его приехать в Царское. Как только он пришел домой, он вызвал сына по телефону и сказал ему, чтобы он тотчас же приехал повидаться с ним. Дмитрий ответил, что по приказанию государыни генерал Максимович взял его под домашний арест в его дворце и что он просит отца приехать к нему в Петербург. В это время я узнала из других источников, что тело Распутина найдено в проруби на Неве, около Елагина моста, и я сообщила эту новость в. князю Дмитрию, который, казалось, был этим очень взволнован. Никогда, я думаю, телефон так не работал, как в этот день.

Было решено, что в. князь и я поедем к Дмитрию на следующий день к завтраку, но отец поедет вперед, чтобы поговорить с сыном наедине. Часовые были поставлены у дверей, но они пропустили в. князя так же, как через час и меня. Первыми словами в. князя к Дмитрию были: «Я знаю, что ты связан словом, и не буду задавать тебе

никаких вопросов. Скажи мне только, что это не ты убил его». — «Папа, — ответил Дмитрий, — клянусь тебе памятью моей матери, что руки мои не запятнаны кровью». В. князь вздохнул свободнее, так как до сих пор ужасная тяжесть сжимала ему сердце. Дмитрий был до слез тронут благородством своего отца, который, не задав ему ни одного вопроса, поверил данному слову. Я, как было условлено, приехала в половине первого, и во время завтрака не было сделано ни одного намека на драму. Тем не менее, все трое были печальны и сосредоточенны.

Я думаю, что все еще ясно помнят подробности этого ужасного дела, и постараюсь говорить о нем возможно меньше. Молодой князь Юсупов поехал к Распутину и пригласил его на ужин, на котором присутствовали в. кн. Дмитрий, Пуришкевич со своим доктором и один офицер по фамилии Сухотин, всыпали сильного яду в вино и пирожные, но яд не действовал, и гости прошли в верхний этаж, а Распутин остался наедине с Юсуповым. Распутин был убит выстрелами из револьвера, его тело было увезено на автомобиле и брошено в прорубь на Неве, возле Елагина моста. Трудно себе объяснить этот акт, особенно принимая во внимание обычай гостеприимства, так широко практикуемый и священный в России, но этот специальный случай надо рассматривать только с точки зрения высоты преследуемой цели: спасения их величеств вопреки их собственной воле.

Ясно, что, возвратясь в Царское, мы ни о чем другом не говорили. Муж сообщил мне, что, не спрашивая об именах и подробностях самого дела, он спросил у него, какие побудительные причины заставили его принять участие в этом деле. Дмитрий признался, что главной целью было открыть глаза государю на действительное положение вещей. «Я надеялся, — сказал он, — что мое имя, замешанное в этом деле, избавит государя от трудной задачи удалить Распутина от двора. Я думал, что государь сам не верил в чудесное влияние Распутина ни в отношении своего сына, ни в отношении политических событий; но он понимал, что удалить его своей собственной властью значит создать конфликт с государыней. Я надеялся, что, освобожденный из-под влияния Распутина, государь станет на сторону тех, кто видел в старце первопричину многих несчастий, как, например, назначение неспособных министров, влияние темных сил на двор и т. д.». — Кроме того, муж сообщил мне о впечатлении, которое поразило его недавно и которое подтверж-

дает мысли его сына. Как я говорила выше, он уехал из Могилева в воскресенье, около 7 часов вечера. В этот день, в 5 часов, он пил чай с государем и был поражен, не понимая причины, выражением особенной ясности и довольства на лице государя, который был весел и в хорошем расположении духа, чего давно уже с ним не было. Ясно, что государыня все время держала его в курсе трагического происшествия, что он знал все, включая подозрения, накоплявшиеся против Юсупова и Дмитрия. Государь ни слова не сказал об этом в. князю Павлу, который позже объяснил себе это хорошее настроение государя внутренней радостью, которую тот испытывал, освободившись, наконец, от присутствия Распутина. Любя настолько свою жену, что он не мог идти против ее желаний, государь был счастлив, что судьба таким образом освободила его от кошмара, который так давил его.

Когда тело Распутина было найдено, государыня приказала отвезти его в Чесменскую богадельню, на пятой версте между Петроградом и Царским Селом; оно было набальзамировано и помещено в ярко освещенной часовне. Госпожа Вырубова и другие почитательницы Распутина несли дежурство около тела. Государыня приехала с дочерьми и долго плакала и молилась. Она положила на грудь Распутина маленькую икону, на обороте которой все они расписались: Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Анна (Вырубова). Позже, после революции, когда тело Распутина было вырыто и сожжено, а пепел развеян по ветру, один американский коллекционер купил эту икону за очень большую сумму. Любопытно отметить, что это странное и таинственное существо прошло через все четыре стихии: воду, землю, огонь и воздух.

Спустя три дня, в три часа ночи, в Царскосельском парке, около арсенала, недалеко от станции Александровской, было совершено погребение Распутина. Государь, министр Протопопов, генерал Воейков и офицер Мальцов несли гроб. Государыня была крайне печальна. Так закончилась эта драма, которую многие рассматривали как освобождение страны и которая, однако, была только началом самой ужасной из трагедий.

III

Государыня побуждала императора строго наказать виновных; но в данном случае наиболее виновный — Фе-

ликс Юсупов — отделался ссылкой в деревню, в одно из своих имений, в то время как в. кн. Дмитрий получил приказание отправиться в Персию, в сопровождении адъютанта государя графа Кутайсова, прикомандированного к нему генерала Лейминга и камердинера. До самого отъезда в. князь Дмитрий содержался под арестом в своем дворце в Петрограде, с запрещением выходить или принимать кого бы то ни было. В ночь на 29 декабря/5 января он уехал, и никто, даже отец, не мог обнять его на прощанье. Большое возбуждение царило среди родни государя и в городе. Было решено подать государю просьбу, в которой умолять его не наказывать в. кн. Дмитрия так жестоко и не ссылать его в Персию, ввиду его слабого здоровья. Это я составила текст прошения. Ссылка эта казалась в тот момент верхом жестокости, но Бог хотел, чтобы она спасла драгоценную жизнь Дмитрия, так как те, которые остались в России, погибли от рук большевиков в 1918—1919 гг. Прошение было подписано греческой королевой Ольгой — бабушкой Дмитрия, в. князем Павлом и всеми членами императорской фамилии. Государь, ознакомившись с этой бумагой, написал на полях ее: «Никто не имеет права убивать; удивляюсь, что члены дома обращаются ко мне с подобными просьбами. Подписал: Николай», и он вернул прошение в. князю Павлу.

Этот исторический документ находился в моем царскосельском доме, и я не знаю, что с ним потом случилось.

В 8 часов утра на первый день Рождества ко мне вошла горничная с запиской от моей дочери Марианны, на которой стояло «спешно». Дочь признавалась мне, что в день отъезда Дмитрия она не могла устоять против желания проститься с ним в последний раз, и в час ночи, т. е. за час до его отъезда, нарушив запрещение, проникла к нему. Она пробыла с ним и, проводив его до дверей, которые он покидал навсегда, вернулась к себе. Двадцать четыре часа спустя, 24-го декабря, вернувшись из Царского, после очень тщательного обыска в ее переписке, дочь была арестована по приказанию министра вн. дел Протопопова. Она писала мне через одного надежного человека, чтобы я не беспокоилась, что она ни в чем не нуждается и воспользуется этими днями вынужденного отдыха, чтобы позаботиться о своем здоровье. Я тотчас же сообщила обо всем этом в. князю, и мы с княгиней Марией решили поехать на автомобиле в Петроград, что-

бы навестить Марианну и побыть с ней. Прибыв на Театральную площадь, 8, где жила моя дочь, мы натолкнулись на двух часовых, которые пропустили нас, записав наши имена. У Марианны мы нашли весь Петербург. Дамы, которых она едва знала, приходили выразить ей свою симпатию. Офицеры в отставке приходили, целуя ей руку. Никто не мог объяснить себе этой строгой меры по отношению к той, единственной виной которой было желание пожать руку друга, уезжающего в ссылку. Несомненно, дочь приняла добрых шестьдесят человек, пришедших к ней в знак протеста. Я уверена, что приказание пропускать всех было дано для того, чтобы записать фамилии лиц, которые тем самым брались под подозрение. Два дня спустя, по настоянию моего старшего сына и других лиц, Протопопов освободил ее, что доказывает только, что этот бесполезный арест исходил не от верховной власти, а был произведен по личной инициативе министра. И подумать только, что такие незначительные факты вырывали бездну между верховной властью и обществом...

После отъезда Дмитрия отношения между в. князем и государем с государыней сделались натянутыми. Его не приглашали больше к чаю, и визиты, которые он делал, посвящались исключительно служебным вопросам. Их величества, казалось, были недовольны князем за то, что он просил о снисхождении своему сыну, а князь был оскорблен ответом, написанным на полях прошения. Так прошел январь, и можно сказать, что с каждым днем положение вещей становилось хуже. Даже газеты, несмотря на цензуру, давали знать о глухом недовольстве. Революционная пропаганда в запасных полках усиливалась с каждым днем. Английское посольство, по приказу Ллойд-Джорджа, сделалось очагом пропаганды. Либералы, князь Львов, Милюков, Родзянко, Маклаков, Гучков и др. находились там постоянно. Именно в Английском посольстве и было решено оставить законные средства и стать на путь революции. Надо сказать, что во всем этом английский посол в Петрограде сэр Джордж Бьюкенен утолял личную злобу. Государь не любил его и становился с ним все более и более холоден, особенно с тех пор, как английский посол стал в дружеские отношения с его личными врагами. В последний раз, когда сэр Джордж испросил аудиенцию, государь принял его стоя и не предложил ему сесть. Бьюкенен поклялся отомстить, и, так как он был близко связан с одной великокняжеской че-

той, то у него явилась мысль совершить дворцовый переворот... Но события опередили их предположения, и он, и лэди Джорджина без малейшего стыда отвернулись от своих утративших прежнее положение друзей. В Петербурге в начале революции рассказывали, что Ллойд-Джордж, узнав о падении царизма в России, сказал, потирая руки: «Одна из целей, которую преследовала Англия, ведя войну, достигнута...». Странная союзница Великобритания, которой всегда надо было бы опасаться, потому что на протяжении трех веков русской истории враждебность Англии проходит красной чертой.

Я счастлива отдать должное Палеологу, французскому послу в России: он был лойяльным и верным до конца. Его положение в это время было очень щекотливым. Он получал из Парижа формальные приказы поддерживать во всем политику своего английского коллеги. И тем не менее, он отдавал себе отчет в том, что эта политика идет вразрез с французскими интересами. Я знала его с давних пор, и узы искренней дружбы связывали его с князем и со мной. Он был принужден лавировать между своим английским коллегой и личными убеждениями и пытался всеми средствами улаживать дела возможно лучше.

Четвертого февраля, в годовщину смерти князя Владимира, а также великого князя Сергея, убитого в Москве в 1905 г. по вдохновению и под руководством Савинкова (того самого Савинкова, которого так радушно принимают наиболее замкнутые круги и самые прекрасные женщины Парижа, какой ужас!), так вот, четвертого февраля, как я сказала, мы пошли в Петропавловскую крепость в Петрограде, чтобы присутствовать на панихиде по двум великим князьям. После торжественного богослужения мы завтракали у вдовы в. кн. Владимира, которая несколько дней спустя уехала на Кавказ, оттуда во время большевистской революции ей удалось бежать на итальянском корабле. После завтрака в. княгиня начала говорить в унисон всем людям, которые были недовольны и раздражены верховной властью. Она щадила государя, но государыня, с которой у нее отношения никогда не были хорошими, была в ее глазах полна недостатков, и она, не стеснялась говорить об этом. Она тоже подписала прошение о снисхождении в. князю Дмитрию и рассматривала отказ государя как личное оскорбление. Со всех сторон слышались угрожающие и дерзкие голоса, и теперь можно понять, как трудно было государю бороть-

ся среди возрастающей враждебности, опирающейся на ряд ошибок и злую волю части русского общества. Одна знатная русская дама, княгиня В. (Васильчикова) позволила себе написать государыне письмо неслыханной дерзости. Я видела это письмо, написанное небрежным и торопливым почерком на листах, вырванных из блокнота. Она писала между прочим: «Уйдите от нас, вы для нас иностранка». Естественно, что государыня чувствовала себя смертельно оскорбленной.

IV

Заседания в думе становились все более и более бурными. Теперь уже не стеснялись ругать правительство, метя постоянно в государя и государыню при критике их министров. Мы вели совершенно уединенный образ жизни в тишине Царского, так как назначение генерал-инспектором гвардии давало возможность в. князю жить где угодно. Тем не менее, мы были в курсе развивающихся опасных событий, а чтение газет делало нас нервными и беспокойными. Снабжение Петрограда съестными припасами становилось все более и более слабым. «Хвосты» у булочных в сильные морозы заставляли народ роптать. Все это революционеры предусмотрели и подготовили заблаговременно. Государь был в ставке, и мы приближались к роковым дням конца февраля. Уже 23 февраля на бурном заседании думы Шингарев и Скобелев, — первый — кадет, второй — социалист-революционер, кричали и требовали, чтобы правительство ушло, если оно не в состоянии кормить население. Правительство не трогалось с места, не сдавалось думе и, казалось, не знало об ее существовании!

24 февраля (9 марта) вспыхивают забастовки, и рабочие массами ходят по улицам, но все еще спокойно, и народ, этот добрый малый, кажется, шутит и смеется со взводами казаков, которые объезжают город. Именно в этот день появилось первое красное знамя, эта гнусная тряпка. Несмотря на эти признаки, о которых нам сообщали по телефону, газеты не говорили ни о забастовках, ни о начинающихся беспорядках. 25 февраля раздались первые выстрелы и послышались мятежные крики: «Долой правительство!..» На некоторых улицах начинаются беспорядки, подавляемые войсками, оставшимися еще верными правительству; но уже в воскресенье, 26 февраля (11 марта) разразилось настоящее сражение. Полки

держались стойко, и вечером нам сообщили по телефону, что все спокойно, и только патрули объезжают улицы.

В понедельник, 27/12, полное отсутствие газет заставило нас опасаться худшего. В Царском мы не нуждались ни в чем, но в Петербурге не хватало хлеба. Я повторяю, что все это было устроено революционерами. Дочери из города телефонировали мне, что стрельба все усиливается, и полки начинают переходить на сторону мятежников. Около двух часов приезжает из Петрограда письмоводитель нашего нотариуса, очень умный, храбрый, честолюбивый, но беспринципный молодой человек. Я знала его благодаря работе в комитете помощи нашим военнопленным, где я была председателем, а он — моим заместителем. Я буду говорить о нем позже. Он приехал, чтобы сообщить нам о важных событиях текущего момента, и чтобы покорнейше просить в. князя настаивать на возможно скорейшем возвращении государя из Могилева. «Еще не все потеряно, — сказал он, — если бы государь захотел сесть у Нарвских ворот на белую лошадь и произвести торжественный въезд в город, положение будет спасено. Как можете вы оставаться здесь спокойными?» В эту минуту вошел князь Михаил Путятин, управляющий Царскосельским дворцом, и мы с общего согласия решили, что государь, конечно, в курсе дела, что он знает, что ему следует предпринять и что лучше всего предоставить ему самостоятельность в его действиях. Увы, увы, не были ли мы правы? Снова раздался звонок телефона. Мятежники только что взяли штурмом арсенал. В этот момент мы почувствовали, что почва действительно качается у нас под ногами. Тюрьмы открыты, и все беглецы из острогов становятся во главе движения. К концу дня 27/12 Петропавловская крепость очутилась в руках революционеров. Мало-помалу полки переходят на сторону наших врагов, и в Царском Селе рассказывают, что первый стрелковый полк, расквартированный в этом городе, ушел, чтобы присоединиться к мятежникам. 28 февраля (13 марта) здание суда, полицейские участки, дом министра двора графа Фредерикса были объяты пламенем! В это время правительство не находит другого решения, как только распустить думу до после пасхи. Этот приказ заставили подписать государя, который все еще находился в ставке. Другой декрет, исходивший от революционеров, гласил: «Государственной думе не расходиться. Всем депутатам оставаться на своих местах». Родзянко, один из бунтовщиков, наиболее ответственных за

несчастье России, решается предупредить государя и командующих армиями о серьезности положения и требует назначения лица, которое пользовалось бы доверием народа. Дума идет еще дальше в своей революционной дерзости. Она формирует Временный исполнительный комитет в составе: Родзянко, Керенского, Шульгина, Милюкова, Чхеидзе и других зачинщиков смуты, который совещается с образовавшимся в то же время советом рабочих депутатов.

Во вторник, 28 февраля (13 марта), около десяти часов утра меня попросил к телефону посол Франции: «Я беспокоюсь о вас, милый друг, — сказал он, — у нас здесь прямо ад, всюду перестрелка! Спокойно ли у вас в Царском?» Я ответила ему, что у нас царит самое безмятежное спокойствие. Я посмотрела в окно и увидела чистое голубое небо; лучезарное солнце заставляло снег сверкать тысячами огней; ни малейший шум не нарушал эту безмятежность природы... но, увы, это продолжалось недолго. После завтрака я пошла в маленькую, милую церковь Знаменья, куда в продолжение всей войны я ходила ежедневно, чтобы помолиться и успокоиться. Я заметила необычное волнение. Солдаты, растрепанные, в фуражках, запрокинутых на затылок, с руками в карманах, разгуливали группами и хохотали. Рабочие бродили с свирепым видом. В тревоге я поспешила вернуться домой, чтобы скорее увидеть князя и детей. Мужа я застала в состоянии крайнего волнения. Ему не давала покоя полная неизвестность о судьбе государя, которого он обожал. Он шагал вдоль и поперек своего рабочего кабинета и нервно крутил усы. Он задавал себе вопрос, не должен ли он поехать к государыне, которую не видел со дня отъезда сына, как вдруг раздался звонок телефона, и из дворца сообщили, что государыня просит в. князя немедленно приехать. Было четыре часа дня. Тотчас был подан автомобиль, и через несколько минут в. князь был у государыни. Она приняла его очень сурово и, спросив о подробностях того, что творится в Петрограде, резко сказала ему, что если бы императорская фамилия поддерживала государя вместо того, чтобы давать ему дурные советы, тогда бы не могло случиться того, что происходит сейчас. В. князь ответил, что ни государь, ни она не имеют права сомневаться в его преданности и честности, и что сейчас не время вспоминать старые ссоры, а необходимо во что бы то ни стало добиться скорейшего возвращения государя. Государыня сообщила,

что он возвратится завтра утром, т. е. 1/14 марта. Великий князь обещал встретить его на вокзале и уехал, убедившись, что ни она, ни дети, которые в то время были больны, не подвергаются никакой опасности и находятся под хорошей охраной.

Около семи часов вечера распространился слух, что толпа волнующихся и угрожающих рабочих покинула фабрики в Колпине и направляется в Царское. Немного испугавшись, мы с в. князем решили пойти к вдове бывшего министра в Персии, де-Спрейер, нашему другу уже в продолжение трех лет, которая работала вместе со мной в лазарете и которая на случай возможных волнений часто предлагала мне свое гостеприимство. Владимир и две мои дочери с гувернанткой-француженкой Жакелиной должны были пойти к семейству Михайловых, где шли усиленные приготовления, чтобы принять их наилучшим образом. Мы ушли из дому около девяти часов вечера. Патрули с белыми нашивками на левом рукаве объезжали город. Мы не знали, были ли это войска, оставшиеся еще верными, или те, которые уже перешли на сторону восставших. Два раза наш автомобиль останавливали, но как только узнавали, что едет в. князь, ему отдавали честь и пропускали. Госпожа Спрейер уступила нам свою комнату, и в течение всего времени, пока мы оставались под ее кровлей, оказывала нам бесконечное внимание и предупредительность. Мы с трудом заснули. Время от времени раздавались ружейные выстрелы, и я представляла себе наш дворец объятым пламенем и все прекрасные коллекции разграбленными и уничтоженными. Увы, позднее, после ссылки государя в Тобольск, когда ничто больше не удерживало нас в Царском, именно эти коллекции, эти богатства погубили нас, так как вместо того, чтобы бежать, пока еще было время, мы остались, будучи не в силах расстаться с дорогими нам вещами. Могла ли я предполагать, что самое драгоценное и самое любимое из моих сокровищ — жизнь князя Владимира — будет принесено в жертву!?

На следующее утро за в. князем приехал автомобиль, чтобы отвезти его в царский павильон для встречи государя, который должен был прибыть в 8½ часа утра. Подождав некоторое время, в. князь возвратился к госпоже Спрейер, чрезвычайно встревоженный, — государь не приехал! На полпути между Могилевом и Царским Селом революционеры, во главе с Бубликовым, остановили царский поезд и направили его на Псков.

Мы возвратились домой около одиннадцати часов утра, и я была очень удивлена, найдя наш дворец на месте, лакеев в ливреях и коллекции нетронутыми.

В это время произошли важные события в Петрограде. Таврический дворец, где заседала дума, все время кишел народом. Офицеры, солдаты переходили на сторону мятежников и являлись предлагать свои услуги. Даже один из членов царской фамилии, в. князь Кирилл Владимирович, пришедший во главе своего полка, чтобы отдаться в распоряжение мятежников, ждал больше часа во дворе, пока г. Родзянко соблаговолил принять его и пожать ему руку. Возвратясь к себе, этот князь велел поднять красный флаг на крыше дома. Бывшие министры: Штюрмер, Горемыкин, Щегловитов, Сухомлинов, генерал Курлов и митрополит Питирим с пинками, издевательствами и оскорблениями были приведены в думу. Не могли найти спрятавшегося Протопопова, но на следующий день он явился добровольно. Графиня Клейнмихель, салон которой был центром общества и дипломатического корпуса, была грубо приведена в думу, а ее дом захвачен и разграблен. Госпожа Елена Нарышкина, урожденная графиня Толь, жившая в гостинице «Астория», была на грузовике привезена в думу; там их обеих держали в течение суток.

Около четырех часов дня, все еще 1/14 марта, к нам приехал князь Михаил Путятин, г. Бирюков — чиновник из министерства двора —и Иванов, тот самый, о котором я говорила выше. На пишущей машинке Владимира составили манифест о даровании императором конституции. В. князь был того мнения, что надо испробовать все, чтобы спасти трон. Когда манифест был составлен, князь Путятин побежал во дворец и поручил генералу Гротену, — второму коменданту дворца, просить государыню подписать его в отсутствие государя, пока тот не приедет. Нельзя было терять ни одной минуты. Несмотря на мольбы Гротена, который, говорят, даже стал перед ней на колени, государыня отказалась дать подпись. Тогда в. князь Павел поспешно подписал манифест, и Иванов отвез его в Петроград, где собрал подписи в. князей Михаила Александровича и Кирилла Владимировича. Манифест был тотчас же отвезен в думу и вручен Милюкову, который, пробежав его глазами и положив в портфель, сказал: «Да, это очень интересный документ». Он, должно быть, сохранил его до сих пор, так как эта, важная в тот момент, бумага не увидела еще света. Злой рок

судил, чтобы этот документ попал в руки такого недобросовестного человека, как Милюков. Факт, о котором я расскажу ниже, докажет, что этот человек был лишен какой бы то ни было честности.

Посылая этот манифест в думу, в. князь в письме к Родзянко умолял его испробовать все способы для спасения государя, о котором было известно только то, что его поезд был возвращен со станции Дно в Псков. Родзянко ни разу не подтвердил получения этого письма. Впрочем, и все его поведение во время революции было отвратительно. Покинутый всеми, он в настоящее время живет в Сербии и говорит о себе самом, что он — «разлагающийся политический труп».

2/15 марта Милюков произносит в думе нескончаемую речь, в которой заявляет, что государь собирается отречься от престола в пользу своего сына, назначив регентом в. князя Михаила. Какой-то горлан слева кричит ему: «Но ведь это опять та же династия». — «Да, — предупредительно отвечает Милюков, — это та же династия, которую вы не любите и которую я тоже не люблю, но в данное время большего нельзя и желать». Самое слово «отречение» до слез сжимало нам сердце. Это казалось нам чудовищным, невозможным, одна мысль об этом приводила нас в ужас. Подавленные важностью и быстротой событий, мы провели очень печальный вечер.

В четверть пятого утра 3/16 марта камердинер в. князя доложил, что офицер императорского конвоя желает говорить с ним во что бы то ни стало. Быстро встав и одевшись, мы приняли офицера, который был бледен, как смерть. Это был друг. Он доложил, что командир сводного полка послал его к в. князю, чтобы сообщить, что новый комендант Царского Села безуспешно пытался дозвониться к нему по телефону и желает его немедленно видеть. Офицер рыдал. Мы поняли, что все кончено. В. князь был бледен. Он отвечал, что готов принять нового коменданта, и, пять минут спустя, артиллерийский полковник по фамилии Больдескул, с огромным ярко-красным бантом на груди, явился к нам в сопровождении адъютанта, тоже с красным бантом. Отдав честь и извинившись за неурочный час (половина пятого утра), полковник прочитал нам следующий манифест:

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу Богу угодно было ниспослать новое тяжкое испытание России. Начавшиеся внутренние народные волнения гро-

зят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно с славными союзниками нашими сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и, в согласии с Государственной думой, признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть.

Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского.

Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины.

Призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

Да поможет господь Бог России».

Город Псков. 2 марта 1917 года, 15 часов.

Николай

Великий князь и я были ошеломлены. Очнувшись, я вся дрожала, и зубы у меня стучали. Как мы ни предугадывали это крушение всего нам дорогого, теперь мы не могли этому поверить. Однако листок пергамента был перед глазами и огненными буквами говорил нам об ужасной истине.

После ухода полковника мы даже не подумали о том, чтобы снова лечь спать. Падение империи — так как мы великолепно понимали, что это было именно падение — предстало перед нами во всем своем ужасе. Напрасно мы убеждали себя, что князь Михаил продолжит традиции. Мы знали, что он был человеком бесхарактерным, всеце-

лѣ находившимся под дурным влиянием своей жены, госпожи Брасовой, да, кроме того, мы любили «нашего» государя, избранника и помазанника Божия, и не желали никого другого.

В тот же день, 3/16 марта, в одиннадцать часов князь пошел к государыне. Это может показаться неправдоподобным, но бедная женщина не знала об отречении своего мужа. Никто из окружающих не имел смелости нанести ей этот удар. Все пятеро детей были больны корью; две старшие и младшая девочки уже поправлялись, но великая княжна Мария (третья) и наследник чувствовали себя очень плохо. В. князь тихо вошел к ней и припал долгим поцелуем к ее руке, будучи не в силах произнести ни слова. Сердце его было готово разорваться. Государыня, в простом костюме сиделки, поразила его своим спокойствием и ясностью взгляда. «Милая Алиса, — сказал, наконец, князь, — я хотел быть рядом с тобой в такую тяжелую для тебя минуту»... Государыня посмотрела ему в глаза. «Что с Ники?» — спросила она. — «Ники здоров, — поспешил ответить князь, — но будь мужественна, как и он: сегодня, третьего марта, в час ночи он подписал акт об отречении от престола за себя и Алексея». Государыня содрогнулась и опустила голову, как будто молилась, потом, выпрямившись, сказала: «Если Ники это сделал, значит, это было нужно. Я верю в милосердие божие: Бог нас не оставит». Но в то же время крупные слезы текли у нее по щекам. — «Я больше не государыня», — сказала она с печальной улыбкой, — но я останусь сестрой милосердия. Так как государем теперь будет Миша, я займусь своими детьми, госпиталем, мы поедем в Крым»... В. князь оставался с ней до завтрака, почти полтора часа. Она хотела знать подробности того, что происходило в думе, и по поводу в. князя, который самолично явился туда третьего дня, сказала по-английски: «Даже Кирилл Владимирович, какой ужас»... Муж вернулся домой в очень нервном состоянии, и я сделала все возможное, чтобы успокоить и ободрить его.

В это время в. князь Михаил находился в Зимнем дворце в Петрограде. Очень немногие знают, что командующий войсками генерал Хабалов, увидев массу народа, бросившегося к Зимнему дворцу, предложил в. князю стрелять в толпу, ручаясь за некоторые полки, оставшиеся верными. Михаил решительно воспротивился этому, заявив, что он «не желает проливать ни одной капли русской крови». Он тайно покинул дворец и укрылся на Мил-

лионной улице у своего друга князя Путятина, двоюродного брата того самого, о котором я говорила выше.

Вот доказательство того, что эту революцию задолго предвидели и тщательно подготовили: в первый же день все частные автомобили, находившиеся в Петрограде, были реквизированы в несколько часов. Наш прекрасный автомобиль исчез одним из первых, и после того, как в нем разъезжали члены Временного правительства, именно на его долю выпала честь встретить Ленина при его прибытии на Финляндский вокзал.

К находившемуся у князя Путятина в. князю Михаилу, который с часа ночи являлся царем, прибыли с визитом князь Львов, Гучков, Родзянко, Милюков, Керенский и другие лица и убеждали его отказаться от престола в пользу народа, который впоследствии сам изберет его или кого-нибудь другого. После нескольких минут колебания, этот бесхарактерный князь уступил, к великой радости изменников отечества; а Керенский, эта марионетка, которую по ошибке приняли на минуту всерьез, бился в истерическом припадке.

VI

Хотя подробности отречения Николая II от престола и известны, я считаю нужным привести их здесь, чтобы напомнить о том, что все несчастья, обрушившиеся на Россию, начались именно с момента отречения. Несчастье и вечный позор тем, которые его добивались и вызвали!

Покинув ставку 27 февраля (12 марта), чтобы возвратиться в Царское, государь узнал, что поезда на Петроград больше не ходят. Было решено, что он поедет в Псков, куда царский поезд прибыл вечером 1/14 марта и где государь получил от генерала Алексеева телеграмму, в которой тот извещал его о развитии революции и умолял пойти на всевозможные уступки. Генерал Рузский, командовавший северным фронтом и находившийся в Пскове, настаивал на том, чтобы государь последовал совету Алексеева. Эта телеграмма была получена в Пскове перед приездом государя, а час спустя Рузский получил от Родзянко вторую, в которой говорилось, что все уступки слишком запоздали и что единственное средство спасти династию — это отречение. Очевидно, Родзянко разослал такого же рода депеши командующим армиями, потому что в. князь Николай, генералы Брусилов и Эверт телеграфировали государю, и все трое, хотя и в различ-

ных выражениях, советовали ему уступить. Одновременно с получением этих телеграмм государь узнал, что его любимый конвой изменил ему и перешел на сторону мятежников. Это был для него очень тяжелый удар. Если бы вы только знали, как государь и государыня баловали чинов конвоя, как они нянчились с их семьями и детьми, как они засыпали их подарками, то вы поняли бы, как должна была опечалить их такая черная неблагодарность.

После полудня 2/15 марта Рузский снова приходит в царский вагон и продолжает убеждать государя отречься. Он повторяет ему беспрестанно одно и то же: «Ну, ваше величество, решайтесь». Наконец, государь уступает. Он составляет телеграмму к Родзянко, говоря, что приносит эту жертву своей горячо любимой родине и отрекается от престола в пользу своего сына, с условием, что последний будет жить с ним до совершеннолетия. Он передает эту депешу Рузскому и возвращается к себе в купе. Рузский, видя, что государь не упоминает о регентстве в. князя Михаила, добавляет то, что считает необходимым, и просит министра двора графа Фредерикса показать телеграмму государю. Фредерикс приносит исправленную телеграмму обратно, вместе с другой, адресованной генералу Алексееву, где государь сообщает о своем отречении и о назначении в. кн. Николая верховным главнокомандующим. Фредерикс добавляет, что государь просит не отправлять этих телеграмм до приезда Гучкова и Шульгина, посланных к нему думой. Двадцать минут спустя государь одумывается и посылает адъютанта, чтобы взять от Рузского телеграммы обратно, но тот не желает возвратить их и дает честное слово (честное?) в том, что не отправит их до прибытия парламентеров.

Как только они прибыли, государь велел позвать их и объявил об отречении от престола за себя и за сына. Это привело посланцев думы в замешательство, так как полученные ими инструкции имели в виду отречение только государя, но не наследника.

Лишь много спустя мы узнали, почему государь решился на двойное отречение. Он призвал своего врача профессора Федорова и сказал ему: «В другое время я не задал бы вам подобного вопроса, но теперь момент очень серьезен, и я прошу вас ответить мне с полной откровенностью: будет ли мой сын жить и сможет ли он когда-нибудь царствовать?» — «Ваше величество, — ответил Федоров, — я должен признаться вам, что его император-

ское высочество наследник не доживет и до шестнадцати лет»... Получив этот удар прямо в сердце, государь принял непоколебимое решение. Тот самый монарх, который столько колебался, дать или не дать конституцию или даже ответственное министерство, одним росчерком пера подписал акт огромной важности, гибельные последствия которого для России неисчислимы. В час ночи Гучков и Шульгин увезли акт о двойном отречении в пользу в. князя Михаила, отрекшегося в свою очередь под давлением революционеров. Это-то отречение и привело к несчастьям, которые мы терпим и в настоящее время и которые унесли столько невинных жертв и повергли Россию в состояние печали и разрушения.

VII

Около шести часов вечера 3/16 марта командиры запасных полков, которые стояли в Царском, собрались у в. князя, чтобы поговорить о новом положении, создавшемся благодаря отречению в. князя Михаила. Этот император на час обнародовал следующий манифест:

«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа.

Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы, возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.

Подписал: Михаил

Петроград, 3 марта 1917 года».

Военные, собравшиеся на совет к в. князю Павлу, предвидели, что, раз монархия пала, будет чрезвычайно

трудно держать войска в руках и заставить их повиноваться. Некоторые роты целиком переходили на сторону восставших. В Петрограде сформировалось Временное правительство, и у в. князя было решено следовать последним наставлениям государя, который советовал подчиняться этому правительству, помогать ему во всем и стремиться только к одной цели — довести войну до победного конца. Из всего этого видно, что государь не думал больше о себе, и только судьба горячо любимой России занимала его мысли. Лишь недавно, благодаря сообщению нашего бывшего посла в Лиссабоне, Петра Боткина, узнали мы удивительное послание государя к войскам после отречения, когда он возвратился из ставки. Вот это послание, которое доказывает прекрасную и благородную душу несчастного монарха:

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения за себя и за сына моего от престола Российского, власть передана Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему.

Да поможет Бог вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы.

Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот — изменник отечеству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников.

Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.

Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий.

Ставка, 8/21 марта 1917 года».

Николай

Вечером 3 марта в. князь Павел опять навестил государыню. Она была спокойна, безропотна и бесконечно прекрасна. Уже чувствовалось подобие ареста, потому что

двор Александровского дворца был полон солдатами с белыми нашивками на рукавах. Они были там по приказанию Временного правительства ради так называемой безопасности государыни и детей, но на самом деле из опасения, чтобы друзья не помогли им бежать. Наконец, государыня получила сведения от мужа, уехавшего снова в Могилев, чтобы проститься с войсками и встретить государыню-мать, которая выехала из Киева, желая повидаться с сыном.

Когда в. князь, выходя от государыни, очутился на высоком подъезде, возвышавшемся над всем двором Александровского дворца, он обратился к толпе собравшихся солдат со следующими словами: «Братцы, — сказал он им, — вы уже знаете, что наш возлюбленный государь отрекся от трона своих предков за себя и сына в пользу своего брата и что этот последний отказался от власти в пользу народа. В настоящий момент во дворце, который вы охраняете, нет больше ни императрицы, ни наследника престола, а есть только женщина-сиделка, которая ухаживает за своими больными детьми. Обещайте мне, вашему старому начальнику, сохранить их здравыми и невредимыми. Не стучите и не шумите, помните, что дети еще очень больны. Обещайте же мне это». Тысячи голосов раздались в ответ: «Мы обещаем это вашему императорскому высочеству, мы обещаем это тебе, батюшка в. князь, будь спокоен, ура!», и в. князь сел в автомобиль, немного успокоившись. Тем не менее, на следующий день, 4/17 марта, произошла резкая перемена. Антинациональная пропаганда, поддерживаемая авантюристами из Временного правительства, глухо рокотала вокруг дворца. Мы с Владимиром пошли побродить вокруг царского дома, чтобы уяснить себе состояние умов солдат и чтобы убедиться в полной безопасности дворца. С болью в сердце услышала я, как один казак из конвоя, гарцовавший на лошади, кричал другому: «Что ты скажешь обо всем этом, товарищ?» — «Я нахожу, что это ловко сделано. Довольно потешились, теперь наша очередь!» С первого взгляда можно было заметить изменившееся настроение людей. Робкие и благоразумные вчера, они были дерзки и наглы сегодня. Эти несознательные существа слепо шли по тому направлению, которое указывало Временное правительство.

VIII

Прошел слух, что старый генерал Иванов с пятьюстами георгиевскими кавалерами идет на помощь государыне; действительно, он дошел до Колпино, где был задержан гораздо более многочисленными войсками восставших; поэтому 4/17 марта Временное правительство, испугавшись, объявило государыню с детьми и всеми окружающими на положении арестованных. Объявить государыне об аресте явился генерал Корнилов. Князь Путятин и генерал Гротен были арестованы в царскосельской управе, куда оба они отправились по служебным делам, — по поводу снабжения дворца продовольствием. Были также арестованы начальник дворцовой полиции полковник Герарди и граф Татищев. Всех их препроводили в одну из царскосельских гимназий, где с ними очень плохо обращались, не давали пищи, а затем вскоре их заключили в Петропавловскую крепость в Петрограде. С государыней оставили только обергофмейстерину двора, госпожу Нарышкину, графа и графиню Бенкендорф и фрейлину графиню Гендрикову. Осталась также и госпожа Вырубова, которая была тоже больна корью. Новый военный министр Гучков назначил комендантом дворца капитана Коцебу, надеясь, что он, согласно своему обещанию, будет держать себя как настоящий тюремщик; но Коцебу, к своей чести, занял это место только для того, чтобы придти на помощь заключенным и смягчить по мере возможности их существование. Он пропускал к ним письма, не просмотренные цензурой, передавал известия, сообщенные по телефону, украдкой покупал им то, в чем они нуждались, и т. д... Поэтому, как только Керенский пронюхал о благородном поведении Коцебу, он удалил его из дворца и поместил туда своего друга Коровиченко — человека из простонародья. Однажды мы попросили его придти к нам, чтобы непосредственно получить новости о царской семье. Этот субъект явился по первому зову, уселся, положив ногу на ногу, и закурил папиросу в нашем присутствии, даже не спросив разрешения.

Как ни печальны эти воспоминания, но следует упомянуть, сколько офицеров и генералов погибло в эти трагические дни. Одним из первых среди убитых был генерал граф Густав Штакельберг, муж моей нежно любимой подруги. Революционные солдаты силой ворвались в их дом на Миллионной улице и принудили генерала

следовать за ними в думу. Едва они вышли, как раздался выстрел. Испуганные солдаты вообразили, что это погоня, и принялись стрелять. Граф Штакельберг попытался бежать вдоль улицы, но солдаты убили его в нескольких шагах от дома. И этот чудный благородный и самый миролюбивый человек был одной из первых жертв. Граф Менгден, граф Клейнмихель, генерал Шильдкнехт, инженер Валуев и многие другие были убиты в начале этой революции, которую князь Львов осмеливается называть «бескровной». В то время говорили, что убивают главным образом офицеров с немецкими фамилиями. Считаясь с этим, Франция не должна была бы допускать ни одного человека с эльзасской или лотарингской фамилией.

5/18 марта, в половине двенадцатого вечера, великий князь Павел, мой сын Владимир и я собрались у меня в будуаре. Раздался неизменный звонок телефона. Я подошла. Это был Волков, камердинер государыни, который раньше долго служил у в. князя. Он сказал мне: «Ее величество государыня просит ваше высочество немедленно придти к ней». — «Боже, что еще случилось?» — воскликнула я. — «Успокойтесь, княгиня, ничего дурного, может быть, это даже лучше: военный министр Гучков и командующий армиями генерал Корнилов приказали сообщить ее величеству, что придут навестить ее сегодня в полночь». Удивленный этим ночным визитом, великий князь немедленно велел подать автомобиль (два автомобиля, оставшиеся в Царском, были взяты у нас только большевиками) и вместе с Владимиром уехал в Александровский дворец. Он думал, что вдвоем они смогут быть более полезны: разве можно что-нибудь предугадать в подобные минуты? Я решила не ложиться спать до их возвращения и ждала их. Они вернулись в половине третьего ночи и вот что рассказали мне. Прибыв во дворец, они были встречены обергофмаршалом двора графом Бенкендорфом, Коцебу и графом Адамом Замойским, роль которого в эти дни испытаний была удивительна. Граф Замойский остался в качестве бессменного дежурного адъютанта при ее величестве до возвращения государя, и, несомненно, разделил бы их заключение, если бы Временное правительство разрешило ему это. Великий князь тотчас же вошел к государыне и нашел ее одну, в платье сиделки, и совершенно спокойной. Она тоже рассказала ему, что Гучков и Корнилов, производившие смотр Царскосельскому гарнизону, попросили принять их в полночь. Она не могла, конечно, и ду-

мать об отказе, несмотря на все свое, вполне естественное, отвращение к этим людям. Великий князь пробыл с ней в течение двух часов. Наконец, около половины второго ночи — мое личное мнение таково, что они умышленно заставили государыню ждать с целью унизить ее — Гучков и Корнилов были введены к ее величеству.

Оба они показались в. князю антипатичными и отталкивающими до последней степени. Свой бегающий и лживый взгляд Гучков прятал за черными очками, в то время как Корнилов, с ярко выраженным калмыцким типом и выдающимися скулами, смотрел все время вниз. Оба имели крайне смущенный вид. Наконец, Гучков решился спросить у государыни, нет ли у нее каких-нибудь желаний. «Да, — ответила она, — прежде всего я прошу вас возвратить свободу невинным, которых вы увели из дворца и которые содержатся под арестом в гимназии (князь Путятин, Гротен, Герарди, Татищев и др.), а затем я прошу, чтобы мой госпиталь ни в чем не нуждался и продолжал функционировать». Когда Гучков и Корнилов уходили, великий князь пошел за ними и сказал: «Ее величество государыня не призналась вам в том, что ее крайне беспокоит охрана, окружающая дворец. Уже двое суток люди кричат, поют, позволяют себе приоткрывать двери и заглядывать внутрь. Не угодно ли будет вам призвать солдат к порядку и благопристойности? Они чёрт знает что себе позволяют!» Оба пообещали сделать страже соответствующее внушение (Временное правительство, не располагая никакой реальной силой, действовало только убеждениями). Гучков и Корнилов ушли, и великий князь не удостоил их пожатия руки.

На следующий день великий князь подал Гучкову заявление об отставке его от должности генерал-инспектора гвардии, а Владимир — от чина поручика его величества гусарского полка. Им было слишком противно служить этим новым пришельцам. И он очень хорошо сделал, так как три дня спустя генерал Алексеев, который в течение всей войны был в очень тесной дружбе с государем, а теперь продолжал нести свои обязанности в Могилеве и совершенно перешел на сторону Временного правительства, прислал великому князю телеграмму следующего содержания:

«Вы отрешены от должности генерал-инспектора гвардии.

Алексеев».

Великий князь ответил следующей телеграммой:

«Я подал в отставку за четыре дня до вашей телеграммы.

Великий князь Павел Александрович».

Начинались унижения и оскорбления самолюбия. Это не был еще организованный грабеж, узаконенная кража большевиков, но их зародыши уже носились в воздухе. В своих бесконечных речах, во время которых слюна брызгала у него изо рта, Керенский не упускал ни малейшего случая, чтобы оскорбить царскую фамилию: «Нам не надо больше Распутиных и Романовых»,— кричал он перед ошеломленной и оцепеневшей толпой.

3 марта, простившись, — увы, навеки, — со своей матерью и войсками, и не выпускаемый из виду своими тюремщиками, государь прибыл в Царское Село. Он вместе со своим верным гофмаршалом князем Валей Долгоруким подъехал на автомобиле к ограде парка, — к ближайшему въезду во дворец. Ограда была заперта, хотя дежурный офицер не мог не знать о приезде государя. Государь ждал в течение десяти минут и произнес следующие слова, которые я узнала от матери князя В. Долгорукова: «Я вижу, что мне здесь больше нечего делать»... Наконец, дежурный офицер соблаговолил побеспокоиться и приказал открыть решетку, которая тотчас же опять закрылась. Государь сделался пленником вместе со своей женой и детьми.

IX

Все министры государя, так же, как и госпожа Вырубова, едва выздоровевшая от кори, были заключены в самые темные и сырые камеры Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. К ним применяли самый строгий режим, который существовал для приговоренных к смертной казни.

Милюков, министр иностранных дел в начале революции, очень скоро стал непопулярным и должен был уступить свое место министру финансов, юному Терещенко, прозванному Вилли Ферреро, или вундеркинд. Но за время своего короткого министерства Милюков успел совершить очень скверный поступок. Король Англии, бес-

покоясь за своего двоюродного брата — государя и его семью, телеграфировал их величествам через посредство Бьюкенена о том, чтобы они как можно скорее выезжали в Англию, где они найдут для себя спокойное и безопасное убежище. Он даже добавлял, что германский император поклялся, что прикажет своим подводным лодкам не нападать на пароход, который будет везти царскую фамилию. Что же делает Бьюкенен по получении этой телеграммы, которая, собственно говоря, была приказом? Вместо того, чтобы вручить ее адресату, — что было его обязанностью, — он совещается с Милюковым, который советует ему не давать этой телеграмме дальнейшего хода. Самая элементарная честность, особенно в «свободной стране», требовала вручения телеграммы тому, кому она предназначалась. В своей газете «Последние новости» летом 1921 года Милюков признался, что все это верно, и что сэр Джордж Бьюкенен сделал это по его просьбе и «из уважения к Временному правительству». Пусть каждый по совести оценит поступки этих «честных людей».

Жизнь августейших пленников была однообразна, печальна и лишена всех радостей; ограничения — очень суровы. Временное правительство отпускало им кредиты с величайшей скупостью. Все письма вскрывались, разговоры по телефону были запрещены. Грубые и часто пьяные часовые были расставлены повсюду. Единственным развлечением государя было разбивать лед на маленьком канале, который шел вдоль ограды царского парка.

Наша жизнь в Царском очень изменилась. Каждый день приносил новые притеснения. То это были газеты, которые нападали на великих князей, опубликовывая вздорные и лживые сведения, то это было Временное правительство, конфисковавшее удельные имущества, созданные императором Павлом I для нужд великих князей. Благодаря этому мы лишились порядочных доходов. Что касается журналистов, то они прибегали ко всевозможным уловкам, чтобы проникнуть во дворцы, оставшиеся еще обитаемыми. В газетах появилось несколько интервью с великими князьями. Все они, вероятно, были неверны, так как по ним выходило, что великие князья одобряют революцию. Мы дали самые строгие приказания, чтобы к нам не пропускали ни одного журналиста, и, тем не менее, мы попались, как и другие. Однажды лакей приносит великому князю визитную карточку, говоря, что какой-то офицер, приехавший из Пскова, про-

сит разрешения видеть нас, чтобы сообщить важные новости по поводу великой княжны Марии, дочери великого князя. Имя офицера нам ничего не говорило, все же мы были далеки от мысли, что все это ложь. Но как только мы увидели входившего субъекта, мы поняли, что попались в ловушку. Молодой человек ярко выраженного еврейского типа, с курчавыми и слишком длинными волосами, затянутый в форму, которой он никогда не носил, подвигался по направлению к нам с блокнотом и карандашом в руке. Великий князь рассердился, повернулся к нему спиной и вышел. Я на одну минуту осталась с ним, не попросила его садиться и, уверяя, что нам нечего сказать, кроме того, что мы глубоко несчастны, постаралась как можно скорее выпроводить его. А на следующий появились четыре столбца интервью, в котором великий князь высказывался об их величествах в возмутительных выражениях. Великий князь был сражен и вне себя от отчаяния. Он послал опровержение во все газеты, но те отказались поместить их. Только «Новое время», хотя тоже бывшее в то время революционным, очень изменив текст, соблаговолило оставить там следующую фразу: «Мог ли я, сын императора Александра II, — царя-освободителя, выражаться подобным образом о моем государе?» Я отдаю дань уважения журналисту Михаилу Романову, который приходил к нам и поместил это опровержение.

В это самое время и произошел один эпизод, который показался бы нам скорее смешным, если бы мы были расположены смеяться. В 1915 году великий князь отдал на хранение в кабинет государя свое завещание, подписанное его величеством и скрепленное министром двора. Желая внести туда некоторые изменения, великий князь обратился к Василию Маклакову, которого он немного знал, с просьбой извлечь этот документ из места, где он находился. Маклаков охотно взялся исполнить это и затребовал от Керенского возвращения завещания. Последний вложил его во второй конверт и написал: «Генерал-адъютанту Павлу Романову». Это было грубо, неблаговоспитанно и лишено всякой логики, потому что, если Керенский имел возможность манипулировать с завещанием великого князя, то при ком, спрашивается, был великий князь генерал-адъютантом? Мы оценили по достоинству это проявление логики. Но каково же было удивление и негодование мужа, когда он увидел, что Керенский позволил себе сломать восковые печати, скреп-

лявшие завещание, и ознакомиться с его содержанием!

Керенский из министра юстиции сделался военным министром и корчил из себя маленького Наполеона. Он усвоил себе фантастическую форму и был положительно комичен, подражая маленькому капралу. Весь цвет осужденных на каторгу за убийства и грабежи, все политические ссыльные и изгнанники из Сибири и всех частей света стекались в нашу несчастную столицу. Савинков, Коллонтай, Чернов, Ленин, бабушка Брешко-Брешковская (эта сумасшедшая старуха), Бронштейн-Троцкий поспешили приехать и были приняты с почестями, достойными их преступлений, на вокзалах, расцвеченных красными флагами.

Керенский очень долго был на фронте, где его слюнявое красноречие не могло заставить солдат идти в сражение, и они предпочитали выходить из окопов и брататься с немцами. Они только и делали, что повторяли: «Без аннексий и контрибуций». Совершенно не понимая того, что это значит, солдаты воображали, что война кончилась, и не скрывали своего неудовольствия из-за невозможности возвратиться домой. Наконец, 18 июня бывший генерал-адъютант государя Брусилов — рьяный слуга Временного правительства, а в настоящее время советов — сделал последнюю попытку наступления, которая привела к позору и поражению под Тернополем и Калущем.

X

В течение всего апреля я продолжала бродить вокруг дворца. Погода была теплая и ясная, и августейшие пленники часто выходили на двор. Я старалась разглядеть их, но они всегда держались вдали от ограды, и мне приходилось слушать только злословие толпы. Однажды вечером, в конце апреля, я увидела массу народа, бегущего по направлению к городской управе; вмешавшись в толпу, я спросила у одного солдата, который имел более добрый вид, чем другие:

— Почему такое сборище? Что вы здесь делаете?

— Нас собрали сюда потому, что должны решить судьбу Николая Романова и его семьи. Их не хотят оставлять больше в Царском, а пошлют в Сибирь.

Очень взволнованная, я прибежала домой, который был отделен от управы только одним прудом, и рассказала своим обо всем, что я только что слышала. Муж, взвол-

нованный не меньше меня, умолял не вмешиваться больше в толпу и не мучиться напрасно, так как мы ничем абсолютно не могли помочь им. Мой милый князь! предчувствовал ли он, что позднее мне придется собрать все силы, чтобы перенести сверхчеловеческое горе?

На каждом происходящем митинге слышалась марсельеза, но не та прекрасная марсельеза, которую поют во Франции и которая постоянно вела французский народ к победе. Это была заунывная, монотонная и печальная песня, печальная, как все русские песни, которые навевают неясную грусть и предчувствие страданий. Ни один митинг (а их было много, так как эта первая русская революция представляла собой совершенно бесполезную болтовню), не обходился без этой русифицированной марсельезы.

По мере того как я пишу, печальные воспоминания встают передо мной. Однажды вечером я проходила сзади Большого дворца, возле китайского моста, и встретила взвод стрелков, который шел сменить караул около пленников. Один солдат их же полка проходит мимо и кричит им: «Товарищи, еще одна ночь трудной работы для вас! будьте спокойны, мы скоро освободим вас от этих бездельников!»

Должна сознаться, что мне очень не хотелось уезжать. Тем не менее, главным образом для того, чтобы заставить великого князя решиться на отъезд, я попросила свидания со всемогущим Керенским. Он, извиняясь, ответил мне, — единственный раз он был вежливым, — что он слишком занят и не может сам придти ко мне, но что он примет меня в Большом царскосельском дворце. Порядочно взволнованная, я прошла в комнаты, в которых раньше жил министр двора граф Фредерикс с женой и куда я часто ходила. Некто вроде адъютанта, с длинными, сальными и приглаженными волосами, в пенсне и с флюсом, завязанным носовым платком сомнительной чистоты, встретил меня и провел в рабочий кабинет. Я ждала в течение пяти минут. Наконец, показался Керенский и непринужденным, фамильярным тоном попросил меня сесть. Это был тип министра, которого Роберт де Флер и де Кайявет так остроумно изобразили в своем произведении «Король». Я немедленно изложила причину своего визита. «Я пришла, — сказала я, — просить вас позволить нам уехать из России»: великому князю Павлу, нашим детям и мне». — «Уехать? — резко спросил Керенский. — Куда?» — «Во Францию, где у нас есть дом,

друзья и где мы еще сможем быть счастливы»... — «Нет, — ответил он, — я не могу разрешить вам уехать во Францию. Что скажут советы рабочих и солдатских депутатов, если я позволю уехать великому князю, бывшему великому князю, — тотчас же поправился он, — такого положения? Вы можете ехать на Кавказ, в Крым, в Финляндию, но не во Францию». — « Значит, мы вам нужны?» — спросила я. — « О, что касается меня, то я вас отпустил бы хоть сейчас, но что скажут советы?» Я хотела встать, но он удержал меня и начал едко критиковать самодержавный государственный строй, благодаря которому совершено столько, с позволения сказать, преступлений и беззаконий... У меня была только одна мысль — поскорее уйти от этой жалкой личности и никогда, никогда больше не встречать его.

29 мая я попросила нашего друга Михаила Стаховича помочь мне спрятать в Гельсингфорсе, в Финляндии, кассу с драгоценностями и ценными бумагами. Будучи после революции генерал-губернатором Финляндии, он был в состоянии оказать мне эту большую услугу. Итак, он увез меня в своем вагоне специального назначения, и я сохранила об этих трех днях, проведенных в его генерал-губернаторском дворце, самые трогательные и благодарные воспоминания.

Михаил Стахович играл очень важную роль в Государственном совете. Будучи талантливым оратором и октябристом по партийной принадлежности, он желал добиться больших свобод и ответственного министерства. Благодаря этому, он был в оппозиции, и так как он часто навещал нас в Царском до революции (и очень часто после), то государыня однажды сказала мне: «Вы мой друг, и тем не менее вы встречаетесь со Стаховичем и Маклаковым» (Стахович накануне привез к обеду Маклакова). — «Ваше величество, — сказала я, — у вас нет друга более преданного, чем я. Стахович тоже не из числа ваших врагов! но, чтобы быть в курсе событий, надо принимать гостей, встречать новых людей, слышать новые речи». Стахович, действительно, был очень хорошо осведомлен о положении дел на фронте и в тылу. Мы любили слушать, когда он говорил, потому что это был ясный ум, золотое сердце и большой патриот.

В апреле 1917 года, когда убийства в Финляндии прекратились, Керенский предложил Стаховичу должность генерал-губернатора Финляндии. Хотя это значило принять участие во Временном правительстве, среди членов

которого был только один достойный уважения — князь Львов и по поводу которого мы никогда бы не сошлись во мнениях, Стахович счел долгом принять это предложение и оставался в этой должности до тех пор, пока вмешательство местных советов не сделало его положение невыносимым. В начале августа он возвратился в Петроград и незадолго до падения Керенского был назначен послом России в Испании, в то время как его сотоварищ Маклаков был назначен послом в Париже. Этот последний находится там до настоящего времени и занимает, кажется, в посольстве если не пост то, по крайней мере, помещения.

XI

Однажды в конце апреля посол Франции попросил разрешения видеть нас. Прошел слух об его близком отъезде, и этот отъезд нашего друга очень нас печалил. Действительно, он пришел для того, чтобы проститься с нами! Положение становилось для него тягостным. Все, что творилось вокруг, глубоко его возмущало. М. Палеолог рассказал нам, что даже Альберт Тома, — этот воинствующий социалист, — возвращаясь с фронта, где он видел только дезертирство, беспорядок и неповиновение, а в тылу — только грубость и неопрятность, сказал ему, опускаясь на кушетку: «Все, что здесь происходит, ужасно». — «Нет, нет, — с жаром продолжал посол, — со времени представления в Мариинском театре, где меня заставили пожать руку Кирпичникову, я чувствую, что мне здесь не место». Этот Кирпичников был первым солдатом, который поднял восстание среди гренадеров, убивая многих безоружных офицеров... и этого-то героя печального образа Временное правительство осмелилось представить послу, тому самому послу, которому император Николай II сказал, обнимая его: «В вашем лице я обнимаю мою дорогую, благородную Францию».

М. Палеолог был замещен Нулансом, которого я имела честь узнать только в 1921 году в Париже, потому что в то время, о котором я говорю, мы не выезжали из Царского.

Так прошли май и июнь 1917 года. Собственно говоря, рассказывать об этом времени нечего, потому что не происходило ничего особенного, кроме несуразностей правления Керенского, который внушал всем глубокое презрение.

Он назначил себя военным министром и министром-президентом. Он буквально разрывался: ездил на фронт, говорил там речи, возвращался обратно, опять говорил, уезжая в Москву, в Севастополь, куда его призывало волнение моряков, и производил впечатление белки в колесе. Борис Савинков занимал пост товарища военного министра, а после предприятия Корнилова, покончив с последним, получил назначение генерал-губернатором Петрограда.

В это время Ленин не довольствовался разговорами. Он действовал почти открыто, и его приверженцы с каждым днем становились все более многочисленными. Керенский, ослепленный своей мнимой славой, ничего больше не видел и не слышал. Не отказывая себе ни в малейшей фантазии, он поселился в Зимнем дворце и спал на кровати императора Александра III. Этот возмутительный поступок создал ему еще больше врагов, чем раньше. Владимир написал на эту тему едкую сатиру в стихах под названием «Зеркала», где он огненными словами клеймил Керенского. Терещенко, министр иностранных дел, получил приказание выслать моего сына из Петрограда. Я не знаю, почему этот проект, который, может быть, спас бы ему жизнь, не был приведен в исполнение.

Многие монархисты начинали желать захвата власти Лениным и его сторонниками, для того только, чтобы свергнуть ненавистного Керенского. Они исходили из принципа: «чем хуже, тем лучше». Наконец, 4(17) июля большевики «испробовали свои силы», напав на Временное правительство; нападение на этот раз не имело успеха, потому что массы, хотя и развращенные, не доросли еще до большевизма.

Советы рабочих и солдатских депутатов, перед которыми Керенский трепетал, отозвали с фронта лучших командующих армиями, хотя те и признали Временное правительство. Многие признаки доказывали, что Керенский был только болтливым полишинелем, который двигался потому, что советы дергали его за веревочку. Он выдумал создать женские батальоны, большая часть которых погибла в октябре, в момент прихода большевиков, в то время как их вдохновитель убежал в автомобиле секретаря посольства Соединенных Штатов.

В четыре часа утра 4 июля я услышала, что кто-то стучит в дверь, и узнала голос моей дочери Марианны фон-Дерфельден, которая просила меня открыть ей как

можно скорее. Я отдернула одну из густых занавесок, и комната тотчас же была залита солнцем; открыв дверь, я увидела перед собой дочь, бледную, как смерть, и еще более прекрасную, чем всегда. «Мама, — сказала она, — одевайся скорее, пусть одеваются также великий князь, Мария, Владимир, малыши и Митя (барон Бенкендорф, наш старый друг, живший у нас летом). Необходимо, чтобы вы покинули Царское как можно скорее!» Разбуженные таким образом, мы протирали глаза, ничего не понимая. — «Почему? Что такое случилось? Почему ты здесь в четыре часа ночи, и зачем эти два автомобиля, которые производят такой адский шум?»

«Умоляю вас, одевайтесь скорее, — все повторяла Марианна, — большевики идут в Царское; получив в Петергофе подкрепления из Кронштадта, они хотят начать свое выступление на Петроград отсюда.

Это рассуждение не выдерживало критики, тем более, что если большевики идут из Петергофа в Царское, то это значило рисковать встретить их на дороге и таким образом броситься прямо в пасть волка! Но Марианна так бесповоротно решила нас увезти, — ведь юность и очаровательна своими порывами, — что, несмотря на страх, мы приказали подать автомобиль и помчались целым караваном, вместе с двумя другими нашими спутниками. Куда она нас везла? Мы узнали об этом только дорогой. Она рассчитывала спрятать нас на один-два дня у одного богатого торговца керосином, М. М... Он принял нас по-царски, но великий князь и я почти не были рады этому. Поэтому к вечеру, увидев, что, несмотря на несколько ружейных выстрелов и прошедших церемониальным маршем полков, все было спокойно, мы настояли на возвращении в Царское, где, впрочем, также была абсолютная тишина.

Эти происки и попытки большевиков заставили нас дрожать за жизнь пленной царской семьи. Все было разрушено: не было больше ни армии, ни чести. Революционеры отлично понимали, что если армия останется нетронутой, то революция рано или поздно погибнет. И, чтобы спасти революцию, они не поколебались принести в жертву армию. Может ли более ужасный позор и угрызения совести висеть над человеческим сознанием? Но у русских революционеров нет совести!

Все больше подтверждался слух об отправлении царской семьи, но куда — неизвестно. Мы не знали, что и думать. Хотя время от времени я и переписывалась с

великими княжнами Ольгой и Татьяной, но было совершенно невозможно задать им такой вопрос. Впрочем, они и не смогли бы мне ответить. Однажды мы узнали, что отъезд назначен на 30 июля (12 августа), день рождения наследника. Мой муж попросил у Керенского свидания со своим царственным племянником, но Керенский — этот ничтожный человек — не удостоил его даже ответом. Только брат государя, великий князь Михаил, живший в Гатчине, добился пятиминутного свидания в присутствии Керенского. Естественно, что в присутствии третьего лица (да еще подобного Керенскому) братья ни о чем не могли поговорить. Они только крепко обнялись в последний раз и постарались сократить свое свидание, чтобы скрыть друг от друга охватившее их волнение. Дабы избежать возможных демонстраций, Керенский тщательно скрывал час отъезда их величеств. На следующий день после их отъезда в Тобольск нас пригласили на обед граф и графиня Бенкендорф, которых освободили после того, как они в течение долгих пяти месяцев разделяли заточение со своим государем. Вот что они рассказали нам в то же самое утром, и, слушая их, мы горько плакали.

Керенский сначала убедил царскую семью в том, что они, согласно собственному желанию, поедут в Крым. — Этот человек был воплощением лживости! — Каково же было изумление царской фамилии, когда им посоветовали «взять как можно больше мехов и зимней обуви»! И только в день, назначенный для отъезда, им объявили, что совет рабочих и солдатских депутатов избрал местом их пребывания город Тобольск в Сибири! Отчаяние семьи было безгранично. Все они обожали Крым и надеялись, что южное солнце и прекрасная природа заставят их, если не забыть, то, по крайней мере, легче перенести их мучительные испытания. А отъезд в Сибирь был ссылкой и низкой местью жалких и злобных людей, которые посылали их туда, где раньше жили каторжники...

Отъезд был назначен на час ночи с 31 июля на 1 августа. Керенский суетился и бегал, приказывал подавать поезд и отменял приказание, проявляя свою обычную бестолковость. Государь и его семья попросили придворного священника отслужить молебен и, поцеловав в последний раз икону пресвятой девы, принесенную для этого из церкви Знаменья, сидели одетые, терпеливо ожидая часа отъезда. Государь, привыкший повелевать, подчинялся силе событий. Изнемогая от усталости и волнения,

они оставались готовыми к отъезду до шести часов утра. Наконец, они покинули дом, в котором жили с первого дня брака, где родились их дети и где они были счастливы; они разлучились с верными слугами, которые горько плакали, прощаясь с ними. Они покидали все это счастливое прошлое для того, чтобы отправиться в неведомую страну, которая казалась им далекой, холодной и печальной... Наконец, в шесть часов утра Керенский с важным видом объявил, что «все готово». Царская семья села в какой-то автомобиль, потому что прекрасные царские машины обслуживали представителей Временного правительства, и проехали от Александровского дворца к царскому павильону между двумя шеренгами революционных солдат. По своей великой доброте, государь, у которого тогда было немного денег, приказал дать от себя по пятьдесят копеек каждому из них за то, что их потревожили ночью. А их было там несколько сот человек...

Прибыв на вокзал, их величества заметили, что поезда у платформы не было, а он стоял так далеко на путях, что его едва было видно. Керенский объяснил этот факт как меру предосторожности. И бедная государыня с больным сердцем должна была идти в течение десяти минут по насыпи, увязая в песке! Подойдя к вагону — это не был уже царский вагон — государыня не могла достать ступеньки, так велико было расстояние между ней и землей! Не могли даже подумать о том, чтобы принести складную лестницу для того, чтобы облегчить ей этот подъем! После больших усилий бедная женщина взобралась и, бессильная, всей своей тяжестью упала на площадку вагона.

Между тем, постель императора Александра III совсем не была для Керенского ложем из роз. Против него начинали группироваться силы, и на московском съезде 14/27 августа он встретил грозного соперника в лице генерала Корнилова. Последний после тщетной попытки водворить порядок среди петроградских войск принял на фронте командование сначала восьмой армией, потом — юго-западным фронтом и, наконец, был назначен главнокомандующим. Он очень быстро отдал себе отчет в том, что Керенский ведет Россию к гибели. Поэтому на съезде в Москве 14/27 и 15/28 августа он выступил против него и под крики правых и военных «Да здравствует генерал Корнилов!» произнес речь, ежеминутно прерываемую слева. Он наглядно доказал опасность, указав сначала на наступление неприятеля на Ригу, затем на анти-

милитаристическую пропаганду и полную дезорганизацию армии. Он настаивал на необходимости восстановить власть офицеров, уничтоженную знаменитым приказом № 1. Речь вызвала продолжительные аплодисменты, и Керенский ему ее не простил. Поэтому, когда Корнилов из ставки через посредство Савинкова потребовал от Керенского введения во всей России осадного положения, он сделал вид, что согласен, и подписал декрет о военной реформе.

Корнилов требовал этого по причине происков крайних партий и взятия Риги немцами. Советы, становившиеся все более и более большевистскими, вовремя узнали об этом постановлении и воспретили Керенскому проводить его в жизнь. Этот последний, чтобы порвать с Корниловым и понравиться советам, не побоялся взять на себя роль, провокатора. Керенский объявил Корнилова и его помощника генерала Лукомского изменниками отечества и сместил их. Он распространил слух, что Корнилов двигается на Петроград, чтобы уничтожить «завоевания революции» и разогнать советы. В действительности третий кавалерийский корпус под командой генерала Крымова шел по приказу Корнилова, чтобы принудить правительство не подчиняться советам. Керенский выпускает обращение ко всей стране против главнокомандующего. Корнилов пользуется тем же средством и посылает из Могилева потрясающий манифест. Мы всей душой были с Корниловым, так как этот, хотя и революционный, генерал был тем не менее патриотом и желал спасения страны. В этой борьбе на жизнь и смерть Керенский и советы одержали верх, и Корнилов с Лукомским были отправлены из Могилева в Быхов, где их заключили в тюрьму. Если бы Корнилов, как мы этого ждали и надеялись, действительно пошел со своей «дикой дивизией» на Петроград, — как знать, — может быть, тогда эта отвратительная русская революция и потерпела бы крах.

Вся эта корниловско-керенская история имела для нас весьма скверные последствия. 27 августа мы ждали к обеду госпожу Нарышкину, урожденную графиню Толь, с сыном. Около шести часов, желая поговорить кое с кем из своих в городе, я заметила, что ручка телефона вертится без малейшего сопротивления. Никто не отвечает. Полагая, что аппарат испорчен, я иду к телефону в прихожей: тот же результат. В этот момент я вижу входящим полковника Машнева, который заменил в должности коменданта Царского Села нашего ночного посетите-

ля Больдескуля. Он вызвал нас, великого князя и меня, и с печальным и испуганным видом объявил нам, что им получен приказ Временного правительства держать нас под домашним арестом. На наш естественный вопрос «почему?» он поднял руки к небу, пожал плечами и сказал: «Почему? Знают ли они сами, почему хотят того или другого? Это полный хаос. Керенский положительно сошел с ума. Отдано распоряжение обрезать провода ваших телефонов, и взвод солдат придет сегодня вечером нести караул и занять все выходы из дворца. Специальный комиссар приедет сегодня к девяти часам вечера, чтобы объявить о вашем аресте. Будьте уверены, ваше высочество, я сделаю все, что в моей власти, чтобы возможно скорее возвратить вам свободу». Он уехал, а пять минут спустя революционные солдаты, оборванные, растрепанные и грязные, заняли все посты. В это время на станцию был отправлен автомобиль, чтобы отыскать госпожу Нарышкину с сыном. Мы не знали, каким образом их вовремя предупредить о том, чтобы они не ходили к нам и тем самым избежали бесполезных неприятностей. Несколько мгновений спустя, они приехали и казались испуганными, когда мы рассказали им о наших новых неприятностях. Мы посоветовали им тотчас же уехать, но солдаты, позволившие им войти, не выпускали их обратно.

Пришлось смириться и ждать дальнейшего. Можно представить себе, что обед не был очень веселым, хотя каждый из нас старался не показывать вида. В девять часов нам объявили, что комиссар Керенского, по фамилии Кузьмин, в сопровождении десятка конвойных желает говорить с Павлом Александровичем Романовым — бывшим великим князем, с его женой и с князем Владимиром Палей. Мы вошли в рабочий кабинет в. князя и с нами одиннадцать субъектов. Кузьмин вынул из кармана три бумаги, которые он прочел последовательно каждому из нас. Там было сказано, что, ввиду возможных волнений и приближения генерала Корнилова в целях монархической реставрации, Временное правительство сочло нужным взять под домашний арест (следовало имя каждого из нас) и что царскосельскому гарнизону поручено нас охранять. Великий князь взял бумагу и посмотрел подпись: «Генерал-губернатор Петрограда Борис Савинков». Итак, это проклятое существо, которое приказало убить брата великого князя, принималось теперь за него самого и его семейство. Нас заставили что-то под-

писать, — неважно, что. Мы были во власти этих низких существ, которые пользовались этим, чтобы делать нам зло без всякого повода и без всякого вызова с нашей стороны. Кузьмин сообщил нам, что бывший великий князь Михаил со своей супругой подверглись той же участи в Гатчине.

Я попросила Кузьмина принять меры к тому, чтобы госпожа Нарышкина могла беспрепятственно вернуться к себе. Он ответил, что все те, кто находится в доме, арестованы, но что он тотчас же займется освобождением ее и барона Бенкендорфа, который жил у нас. Госпожу Нарышкину с сыном поместили в комнатах для гостей, и надо было дать им все необходимое для ночлега. В четыре часа утра пришли сообщить, что они свободны. Не будя нас, они сели в наш автомобиль и уехали в Петроград, где нашли свою квартиру переполненной агентами Керенского, производившими обыск. Какая ужасная ночь! Госпожа Нарышкина не забудет об этом визите!

На следующий день Кузьмин снова пришел с целью возвратить свободу Бенкендорфу и его камердинеру с семьей. Все они уехали в Петроград после трехмесячного пребывания у нас. Кузьмин спросил наших девочек, одной из которых было в то время тринадцать лет, а другой — одиннадцать, хотят ли они пользоваться свободой и жить в одном из флигелей дворца, но с условием, чтобы не иметь никаких сношений ни с родителями, ни с братом. Обе с негодованием отвергли это предложение и просились разделить наше заточение. «Каковы, маленькие революционерки!» — пробормотал Кузьмин, и мы так никогда и не узнали, было ли это с его стороны комплиментом или упреком по отношению к ним.

XII

Наше заключение длилось в течение восемнадцати дней — с 27 августа (9 сентября) по 13/26 сентября. Пока мы сидели в комнатах, нас оставляли в покое, и наша жизнь казалась совершенно не изменившейся. Но как только мы хотели пошевельнуться, пойти подышать свежим воздухом, начинались притеснения. Нам отвели для прогулок французский цветник перед домом со стороны сада. Единственная дверь, которая туда выходила, была открыта и охранялась большим количеством вооруженных часовых, так же как и аллеи, окружавшие цветник. Кузьмин начертил план сада, где мы могли свободно

ходить. Один солдат, которого, видимо, забыли предупредить о том, что аллея, идущая вдоль ограды, входит в разрешенный круг, прицелился в меня из ружья за то, что я рискнула пойти туда. Я продолжала подвигаться вперед, уверенная в своей правоте. «Ты не видишь, что ли, буржуйка, что я хочу стрелять в тебя?» — закричал он мне. — «Прежде всего, я запрещаю тебе называть меня на «ты», дурак», — сказала я и продолжала идти. Ошеломленный, он опустил оружие.

Потом явился дежурный унтер-офицер, который извинился передо мной и принялся объяснять солдату топографию сада. Мы заметили, что солдаты становились ужасны, когда они собирались вместе, взятые в отдельности они начинали тотчас же уверять в своей преданности и верности. В продолжение этих восемнадцати дней я часто разговаривала с ними. Когда Керенским было распространено известие о приближении Корнилова, солдаты сделались особенно нервными. Один из них спросил меня: «Скажите, барыня, вы за Керенского или за Корнилова?» Несмотря на все неблагоразумие моего ответа, я сказала: «Без сомнения, за Корнилова». — «Ну вот, — спокойно возразил солдат, — а я нахожу, что его следовало бы расстрелять». Он не донес на меня потому, что в то время считалось возможным говорить все и высказывать свои мнения.

И я, и дети постоянно беседовали с нашими тюремщиками. Только великий князь гулял, не произнося ни слова, молчаливый и серьезный, и скоро возвращался. С самой ранней юности он был военным, солдатом в душе, и вид этого беспорядка, этого неповиновения, этой неисправной формы причинял ему страдание. Он думал о своем отце — императоре Александре II, как должен был бы страдать тот, если бы видел с неба, что сделали изменники с его дорогой Россией.

Через каждые двадцать четыре часа происходила смена взвода, офицера и унтер-офицера, которые несли караул. И вот, я утверждаю под честным словом, что из восемнадцати офицеров, которым по очереди поручали надзор за нами, по меньшей мере четырнадцать со слезами на глазах уверяли в своей верности старому режиму. Они пользовались моментом, когда доктор Обнисский, домашний врач великого князя, который один имел к нам доступ, приходил навестить своего августейшего пациента. Дежурный офицер должен был присутствовать при ежедневных визитах доктора (чтобы этот последний не при-

нес великому князю ничего другого, кроме своих забот). Я видела офицеров, которые плакали, целуя руки великого князя и прося прощения за свое вынужденное присутствие. И великий князь был так добр, что сам еще утешал и ободрял их. В присутствии солдат офицеры снова становились осторожны, бесстрастны и высокомерны. Мы неосмотрительно пригласили одного из них к завтраку, и несколько часов спустя, по доносу одного из солдат или слуг, офицер был отозван.

Однажды, когда я прогуливалась перед домом, дежурный офицер, который ходил сзади меня и, казалось, до сих пор не замечал меня, пробормотал, обгоняя меня: «Я предан великому князю и вам на всю жизнь... не отвечайте ничего», поспешно добавил он, видя, что один солдат приближается к нам. Таким образом, эти образованные, воспитанные молодые люди трепетали перед мужиками, которыми они командовали... Разве это было нормально и допустимо? И не должно ли было такое положение вещей привести к бедствиям?

Моя дочь Марианна упросила Кузьмина похлопотать об ускорении нашего освобождения. Кузьмин отыскал Керенского и убедил его в том, что солдатам надоело нас стеречь и что они хотят уйти. Всегда робкий перед силой и заносчивый перед безоружными, Керенский уступил, и Кузьмин явился объявить нам о том, что мы свободны и что солдаты в течение часа очистят дворец.

Нас освободили, и было как раз время, чтобы бежать из Царского, так как это первое предупреждение означало, что даже великий князь Павел, который был когда-то таким популярным среди войск и которого до сих пор не тревожили, больше уже не был в безопасности... Увы, это был не единственный случай, который мы упустили! Мой сын Александр привел нескольких преданных офицеров, предлагавших свои услуги, чтобы помочь нам бежать. Один из них, по фамилии Бриггер, которого я встречала у молодого Юсупова, по поручению своего начальника отыскал князя и сказал ему: «Ваше высочество, опасность для вас и вашей семьи становится с каждым днем все больше. Я умоляю вас выслушать меня и положиться на меня. Я — авиатор, и мой начальник, полковник Сикорский — изобретатель «Ильи Муромца» — в курсе моих планов. Я спущусь ночью на одну из лужаек царскосельского парка, которую мы с вами вместе выберем. Вы придете туда с княгиней, вашими детьми и небольшим количеством багажа. Аппарат мой — настоящая комната

с двумя креслами. Через четыре часа мы будем в Стокгольме»... Великий князь печально посмотрел на него. «Милый друг, вы видите, что я тронут до глубины сердца, но то, что вы только что предложили мне, похоже на фантазии Жюль-Верна! Каким образом хотите вы, чтобы мы исчезли и никем не были замечены хотя бы самые незначительные сборы? Ведь за нами следят, шпионят, слуги не спускают с нас глаз... Нас захватят на месте, и наша судьба, да и ваша также, будет еще более тяжелой, чем в настоящее время...» Бриггер ушел в отчаянии. Поручение, которое возложил на него Сикорский, потерпело неудачу. Я увидела его только через месяц после его визита; а два месяца спустя он убежал от нашествия большевиков. Что касается Сикорского, который был русским подданным, но поляком по национальности, то он возвратился на родину, где в настоящее время считается одним из наиболее славных командующих армиями.

Итак, мы остались в Царском, ожидая чуда, т. е. лучших дней... но с каждым днем становилось все ужаснее...

29 октября (11 ноября) в Царском Селе царило большое оживление. Туда прибыли полки казаков, и раздавали листовки, призывавшие население к спокойствию и поддержке правительства. Верховые гонцы быстро скакали по дороге, идущей вдоль ограды нашего дворца. К вечеру послышалась глухая канонада, которая к рассвету прекратилась. Утром 30 октября (12 ноября), при ясной и солнечной погоде, стрельба возобновилась ближе и сильнее, чем накануне. Вдруг около полудня во всех церквах Царского сразу зазвонили. Этот гул пушек, смешанный со звоном колоколов, казались как бы борьбой добра со злом... Увы, зло победило добро! Колокола умолкли, а канонада становилась все сильнее и сильнее.

Я гуляла с моими девочками в саду, как вдруг страшный взрыв раздался над нашими головами. Стекла домов задрожали. Мы инстинктивно пригнулись к земле, как бы для того, чтобы избежать удара. Управляющий делами великого князя, артиллерийский полковник Петроков сказал мне: «Княгиня, это неразумно. Вы каждую минуту можете быть убиты, кроме того, больше не может быть никаких сомнений в том, что большевики останутся победителями. Мне только что донесли, что казаки отступили, а Керенский, который еще сегодня утром был здесь, позорно бежал на автомобиле... Большевики сейчас являются, вероятно, уже хозяевами Царского». Действительно, стрельба постепенно уменьшалась и к шести часам

вечера совершенно прекратилась. В девять часов вечера полковник Петроков пришел сообщить нам, что большевики вошли в Царское и захватили дворец вдовы великого князя Владимира, который находился напротив нашего. Это была жуткая ночь. Я просыпалась и вскакивала при малейшем шуме, но нас пока оставили в покое.

На следующий день, 31 октября (13 ноября), около четырех часов дня, я была в саду с моим сыном Александром, который приехал навестить нас еще 29 и не мог уехать обратно. Вдруг мы увидели отряд солдат, моряков и красногвардейцев (вооруженные рабочие), который под предводительством военного мерным шагом подвигался к нашему дому... *

---

* Дальнейшие главы «Воспоминаний» посвящены аресту великого князя Павла Александровича и его сына, а также бегству кн. Палей за границу.

В. В. Шульгин

Дни

Предпоследние дни конституции

Итак, — вот...

Хоровод «мятежных душ», неудовлетворенных жизнью, любовью. В поисках за «ключами счастья» одни из них ударяются в мистицизм, другие — в разврат... Некоторые — и в то, и в другое... Увы, они танцуют на вершинах нации... свой ужасный «чумный танец»... Этот своеобразный «журавель» начала века — большой круг (одна из фигур кадрили) или, лучше сказать, порочный круг вьется круговым рейсом через столицу: от дворцов к соборам, от соборов к притонам и обратно. Этот столичный хоровод, естественно, притягивает к себе из глубины России, с низов, родственные души... Там, на низах, издревле, с незапамятных времен ведутся эти дьявольские игрища, где мистика переплетается с похотью, лживая вера — с истинным развратом... Что же удивительного, что санкт-петербургская гирлянда, мистически-распутная, притянула к себе Гришку Распутина, типичного русского «хлыста»?... Вот на какой почве произошло давно-жданное слияние интеллигенции с народом!.. Гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-мистичку, а в другой — истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своей двуликой фасой — кудесника и сатира...

Ужас в том, что хоровод этот пляшет слишком близко к престолу... можно сказать, у подножия трона... Благодаря этому, Гришка получил возможность оказать свое странное влияние на некоторых великих княгинь... Эти последние ввели его к императрице...

Хлыст не обязан быть идиотом... Хлыст может быть и хитрым мужиком... Гришка прекрасно знал, где каким фасом своего духовного обличья поворачиваться...

Во дворце его принимали как святого старца, чудодейственного человека, предсказателя...

«Скажи мне, кудесник, любимец богов»...

Императрица во всякое время дня и ночи дрожала над жизнью единственного сына.

Кудесник очень хорошо все понял и ответил:

— Отрок Алексей жив моей грешной молитвой... Я, смиренный Гришка, послан богом охранять его и всю царскую семью: доколе я с вами, не будет вам ничего худого...

«Грядущие годы таятся во мгле —
Но вижу твой жребий на светлом челе»...

И никто не понял, когда этот человек переступил порог царского дворца, что это пришел тот, кто убивает...

Он убивает потому, что он двуликий...

Царской семье он обернул свое лицо «старца», глядя в которое царице кажется, что дух божий почивает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего-сатира из Тобольской тайги... И из этого — все...

Ропот идет по всей стране, негодующий на то, что Распутин в покоях царицы...

А в покоях царя и царицы — недоумение и горькая обида... Чего эти люди беснуются?... Что этот святой человек молится о несчастном наследнике?.. О тяжелобольном ребенке, которому каждое неосторожное движение грозит смертью, — это их возмущает?! За что?.. Почему?!.

Так этот посланец смерти стал между троном и Россией... Он убивает, потому что он двуликий... Из-за двуличья его обе стороны не могут понять друг друга... Царь и Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в пропасть...

* * *

Это было во дворце в. князя Николая Михайловича на набережной... Большая, светлая комната, не имевшая определенного назначения, служившая одновременно и кабинетом, и приемной... Иногда тут даже завтракали совершенно интимно, — за круглым столиком...

Так было и на этот раз. За кофе в. князь заговорил о том, для чего он нас собственно позвал, — Н. Н. Львова и меня.

— Дело обстоит так... Я только что был в Киеве... И говорил с вдовствующей императрицей... Она ужасно обеспокоена... Она знает все, что происходит, и отчасти после разговора с ней я решился... Я решился написать письмо государю... Но совершенно откровенно... до конца... Все-таки я значительно старше, кроме того, мне ни-

чего не нужно, я ничего не ищу, но не могу же я равнодушно смотреть... как мы сами себя губим!.. Мы ведь идем к гибели... В этом не может быть никакого сомнения... Я написал все это... Но письма не пришлось послать... Я поехал в ставку и говорил с ним лично. Но, так сказать, чтобы это было более определенно... к тому же, я лучше пишу, чем говорю... я просил разрешения прочесть это письмо вслух... И я прочел... Это было первого ноября...

В. князь стал читать нам это письмо.

Что было в этом письме?.. Оно было написано в сердечных родственных тонах, — на «ты»... В нем излагалось общее положение и серьезная опасность, угрожающая трону и России. Много места было уделено императрице. Была такая фраза: «Конечно, она не виновна во всем том, в чем ее обвиняют, и, конечно, она тебя любит»... Но... но страна ее не понимает, не любит, приписывает ей влияние на дела, — словом, видит в ней источник всех бед...

Государь выслушал все до конца. И сказал:

— Странно... Я только что вернулся из Киева... Никогда, кажется, меня не принимали, как в этот раз...

На это в. князь ответил:

— Это, быть может, было потому, что вы были одни с наследником... Императрицы не было...

В. князь стал рассказывать еще. Много ушло из памяти — боюсь быть неточным.

В конце концов Львов спросил:

— Как вы думаете, ваше величество, — произвели впечатление ваши слова?

В. князь сделал характерное для него движение.

— Не знаю... может быть... боюсь, что нет... Но все равно... Я сделал... я должен был это сделать...

* * *

— Вы уезжаете?

Я уезжал в Киев. Пуришкевич остановил меня в Екатеринінском зале Таврического дворца. Я ответил:

— Уезжаю.

— Ну, всего хорошего...

— Ну, всего хорошего...

Мы разошлись, но вдруг он остановил меня снова.

— Послушайте, Шульгин, вы уезжаете, но я хочу, чтобы вы знали... Запомните: 16 декабря...

Я посмотрел на него. У него было такое лицо, какое у него уже раз было, когда он мне сказал одну тайну.

— Запомните 16 декабря.

— Зачем?

— Увидите... Прощайте...

Но он вернулся еще раз.

— Я вам скажу... Вам можно... Шестнадцатого мы его убьем...

— Кого?

— Гришку!

Он заторопился и стал мне объяснять, как это будет. Затем:

— Как вы на это смотрите?

Я знал, что он меня не послушает. Но все же сказал:

— Не делайте...

— Как?! Почему?

— Не знаю... Противно...

— Вы белоручка, Шульгин!

— Может быть... Но может быть и другое... Я не верю во влияние Распутина.

— Как?!

— Да так... Все это вздор. Он просто молится за наследника. На назначение министров он не влияет. Он хитрый мужик...

— Так, по-вашему, Распутин не причиняет зла монархии?

— Не только причиняет, а он ее убивает.

— Тогда я вас не понимаю...

— Но ведь это ясно... Убив его, вы ничему не поможете... Тут две стороны. Первая, это — то, что вы сами назвали «чехардой министров». Чехарда происходит или потому, что некого назначать, или, кого ни назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помешалась на людях «общественного доверия», а государь как раз к ним доверия не имеет... Распутин тут ни при чем... Убьете его — ничто не изменится...

— Как не изменится?..

— Да так... Будет все по-старому... Та же «чехарда министров». А другая сторона, это — то, чем Распутин убивает: этого вы не можете убить, убив его... Поздно...

— Как не могу? Извините, пожалуйста!.. А что же, вот так сидеть?!... Терпеть этот позор?! Ведь вы же понимаете, что это значит! Не мне говорить, не вам слушать! Монархия гибнет!.. Вы знаете, я не из трусливых... Меня не запугаешь... Помните вторую Государственную

думу?... Как тогда ни было скверно, а я знал, что мы выплывем!.. Но теперь... теперь я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия!.. Вы знаете, что происходит?! В кинематографах запретили давать фильму, где показывалось, как государь возлагает на себя георгиевский крест. Почему?.. Потому, что как только начнут показывать, из темноты голос: «царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием!»...

Я хотел что-то сказать. Он не дал:

— Подождите! Я знал, что вы скажете... Вы скажете, что все это неправда, про царицу и Распутина... Знаю, знаю, знаю!!! Неправда, неправда, неправда!!! Но не все ли равно, я вас спрашиваю?! Подите, доказывайте!.. Кто вам поверит? Вы знаете — Кай Юлий был не дурак: «и подозрение не должно касаться жены Цезаря»... А тут не подозрение... тут...

Он вскочил:

— Так сидеть нельзя! Все равно! Мы идем к концу! Хуже не будет. Убью его, как собаку... Прощайте!..

Когда наступило 16 декабря, они его действительно убили...

Это была попытка спасти монархию старорусским способом: тайным насилием...

Весь XVIII век и начало XIX прошли под знаком дворцовых переворотов. Когда «случайности рождения» (выражение Ключевского) подвергали опасности «самую совершенную форму правления — единодержавие», какие-то люди, окружавшие престол, исправляли «случайности рождения» тайным, насильственным способом... При этом иногда обходилось без убийств, иногда нет...

В начале XX века эти люди стали мельче... На дворцовый переворот их нехватило... вместо этого, они убили Распутина...

Цели это, конечно, не достигло. Монархию это не могло спасти потому, что распутинский яд уже сделал свое дело... Что толку убивать змею, когда она уже ужалила...

Но при всей его бесцельности убийство Распутина было актом глубоко монархическим.

Так его и поняли...

Когда известие о происшедшем дошло до Москвы (это было вечером) и проникло в театры, публика потребовала исполнения гимна.

И раздалось, может быть, последний раз в Москве:

«Боже, царя храни»...

Никогда эта молитва не имела такого глубокого смысла...

Год — 1917. Москва — январь — февраль. Чисел не помню.

Я получил в Киеве тревожную телеграмму Шингарева: он просил меня немедленно вернуться в Петроград.

Кажется, я приехал 8 января. В этот же день вечером Шингарев пришел ко мне.

— В чем дело, Андрей Иванович?

— Да вот! Плохо! Положение ухудшается с каждым днем... Мы идем к пропасти... Революция, это — гибель, а мы идем к революции... Да и без революции все расклеивается с чрезвычайной быстротой... С железными дорогами опять катастрофически плохо... Они еще кое-как держались, но с этими морозами... Морозы всегда понижают движение, а тут как на грех — хватило!.. График падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием... Не сегодня-завтра не станет хлеба совсем... В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен. Меж тем, как вы знаете, наше военное могущество, техническое, выросло, как никогда... Наше весеннее наступление будет поддержано невиданным количеством снарядов... Надо бы дотянуть до весны... Но я боюсь, что не дотянем...

— Надо дотянуть...

— Но как? Зашло так далеко, пропущены все сроки, я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдет на уступки, если даже будет составлено правительство из этих самых людей доверия, то это не удовлетворит... Настроение уже перемахнуло через нашу голову, оно уже левей прогрессивного блока... Придется считаться с этим... Мы уже не удовлетворим... Уже не сможем удержать... Страна уже слушает тех, кто левей, а не нас... Поздно...

— Чтобы додержаться, придется взять разгон... Знаете, на яхте... когда идешь, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход... Если наступление будет удачно, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом... Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход. Для этого, если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево...

— Как вы себе это представляете?

— Я бы позвал Керенского.

— Керенского? В качестве кого?

— В качестве министра юстиции, допустим... Сейчас пост этот не имеет никакого значения, но надо вырвать у революции ее главарей... Из них Керенский — все же единственный... Гораздо выгоднее его иметь с собой, чем против себя.

— Но ведь это только гадание на кофейной гуще... Реально ведь никаких нет признаков, что правительство собирается, говоря попросту, позвать нас?

— Реально — никаких... Но напуганы все сильно... Там большое смятение... Надо быть ко всему готовым.

* * *

Ко мне пришел один офицер.

— Зная вас, я хочу вас предупредить.

— О чем?

— О настроении петроградского гарнизона... Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они «печатают» на снегу... С этой стороны за них взялись... Но этим их не переделаешь... Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки! Это все те, кто бесконечно уклонялись под всякими предлогами и всякими средствами. Им все равно, лишь бы не идти на войну... Поэтому вести среди них революционную пропаганду — одно удовольствие... Они готовы к восприятию всякой идеи, если за ней стоит мир. А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. А ведь все они имеют удобные квартиры здесь. И вот, беснуются. Пойдет к себе домой и приходит совершенно красный. Для чего их тут держат? Это — самый опасный элемент. Чуть что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда как можно скорей.

Был морозный ясный день. Едучи в думу, я действительно чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приладонивая снег деревянными, автоматическими движениями.

Теперь я смотрел на них с иным чувством.

И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе не называли, как «С.-Петербургское беговое общество». Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит.

Я не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню... Где-то на Песках.

Это была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро прогрессивного блока и другие видные члены думы: Милюков, Шингарев, Ефремов, кажется, Львов, Шидловский, кажется, Некрасов... Кроме того, были деятели Земгора. Был и Гучков, кажется, князь Львов, Д. Щепкин и еще разные, которых я знал и не знал.

Сначала разговаривали — «так», потом сели за стол... Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя... Что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же... Необходимо иметь смелость... чтобы принять большие решения... серьезные шаги...

Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать... Что они хотели? Что думали предложить?

Я не понял в точности... Но можно было догадываться... Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А может быть, что-нибудь совсем другое.

Во всяком случае — не решились... И, поговорив, разъехались... У меня было смутное ощущение, что грозное близко... А эти попытки отбить это огромное были жалки... Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное, в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен...

* * *

Н. сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине, доверительно... Я пригласил его к себе.

Он пришел. У него на моложавом лице всегда были большие розовые пятна, не знаю — от чахотки или от здоровья.

Он начал издалека. Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, т. е. о дворцовом перевороте... Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей. Впрочем, слышал я о так называемом «морском» плане. План этот состоял в том, чтобы пригласить государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увезти ее в Англию, как будто по ее собственному желанию. По другой версии, уехать должен был и государь, а наследник должен был быть объявлен императором. Я считал все эти разговоры болтовней.

Н. говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет и что поэтому тре-

буются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза.

— Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза, — а ведь вместе они составляют русский народ, — пошли ли бы вы на эти совершенно не вмещающиеся в обыденные рамки, совершенно экстренные меры, пошли ли бы вы на них для спасения родины?

Я ответил не сразу, потому что понял сразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу: «Никто не может отнять у русского государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний богом врученную ему державу»... Я вспомнил, как бешено обрушились на Столыпина тогда кадеты за эту «неконституционную» фразу. Теперь они же, кадеты, или один из них, предлагают для спасения этой же державы меры, настолько менее конституционные, сравнительно с третьим июня, насколько шлюпка меньше броненосца.

Наконец, я ответил вопросом:

— Вы читали Жюль-Верна?

— Читал, конечно, но что именно?..

— Это неважно, потому что я не уверен, что это из Жюль-Верна... Во всяком случае, это — теория моряков.

— Какая теория?

— Две теории... Или, вернее, две школы. Одна школа — это «суденщики», а другая — «шлюпочники»...

— Объясните...

— Это касается морских бедствий... кораблекрушений... «Шлюпочники» утверждают, что когда корабль терпит так называемое «кораблекрушение», то надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения.

— Это понятно... А «суденщики»?..

— А «суденщики» говорят, что надо остаться на судне...

— Да ведь оно гибнет?..

— Все равно... Они говорят, что из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море.

— Но один шанс все же остается.

— Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля, потому не стоит беспокоиться...

— А вывод?

— Вывод тот, что я принадлежу к школе «суденщиков», а потому останусь на судне и в шлюпки пересаживаться не хочу...

Он помолчал.

— В таком случае забудем этот разговор.

— Забудем...

* * *

Однажды, это было, кажется, в феврале, рано утром ко мне пришли неожиданные посетители: один был бывший министр, другой — товарищ министра.

П. Н. был единственным из министров, который одинаково был любезен и «двору», и «общественности». Он был умен, ловок, очень тактичен, по убеждениям — консерватор, но понимал мудрость латинской поговорки: «вдвойне дает, кто быстро дает». Сделав, в сущности, пустяковые уступки по своему министерству, он стал весьма популярен и мог претендовать на то, что пользуется «общественным доверием»... Если бы его несколько месяцев тому назад назначили премьером, быть может, ему удалось бы поладить с Государственной думой*.

— Вы знаете, — начал он, — мои воззрения: конечно, я не либерал... Те, что так думают, очень ошибаются. Но есть вещи, и вещи... Есть положения, когда просто невыгодно упрямиться. Программа Государственной думы, т. е. прогрессивного блока, — ведь она в сущности очень приемлема...

— Вздор! Пустяки! — сказал товарищ министра. — Все это, конечно, можно дать без всякого колебания государства Российского...

— За исключением одного пункта, — сказал министр. — Это о власти. Вы понимаете, — тут заупрямились... Я сказал государю все... Я объяснил, что мы все, наша семья, традиционно преданы престолу. Но что мы всегда были — земщина. Что я отнюдь не либерал, но считаю, что с «земщиной» нужно считаться. В особенности теперь, во время войны. И что дума, олицетворяющая «земщину», стоит на строго патриотической позиции. Что она взяла на свои плечи всю тяжесть лозунга — «война до победного конца»... И что правительству надо идти с думой и что поэтому я прошу отставки... Словом, все, что можно было сказать... Со мной лично были в высшей степени милостивы... Но... но это безнадежно... то есть безнадежно — насчет власти...

---

* Речь идет, по-видимому, о бывшем министре народного просвещения Игнатьеве.

— Поймите, Шульгин, что в этом все, — сказал товарищ министра. — Все в этом пункте, все в том, что вы хотите, чтобы правительство было из лиц общественного доверия, другими словами, от «блока». Здесь вся загвоздка! А что касается остальной вашей программы, так только проведите ее через думу, все будет принято правительством...

— В той же части вашей программы, — сказал министр, — которая может быть проведена правительством собственной властью, то она, например, по ведомству народного просвещения, уже осуществлена. Впрочем, вы очень деликатно выразились об этом вопросе...

— «Вступление на путь постепенного ослабления». Кто это выдумал? Это почти гениально, — сказал товарищ министра.

Но что касается вопроса о власти, — сказал министр, — увы! — здесь стенка!.. И вот, смысл нашего посещения нижеследующий... Мы, В. М. и я, достаточно вас знаем... Если Милюков и другие могут иметь какие-то мотивы, старые навыки борьбы с властью во что бы то ни стало, то вы, конечно, преследуете одну цель — благо родины... А это значит, в данную минуту, как-нибудь довести войну до конца, потому что иначе...

— Иначе России — конец, — сказал товарищ министра.

— И вот, если дело не выходит, — продолжал министр, — если стенка, — как быть? Мы хотели вам сказать: не обостряйте отношений... Ведь все равно, в лоб не возьмете...

— Шульгин, вы знаете, как дети, когда «играют», вдруг заупрямятся все... и вот зашли в тупик: ни тот ни другой не уступают. Вдруг один кричит: «Я умнее!» и уступает... И разрешен тупик, и продолжается игра... Крикните: «Я умнее» и уступите... Вернее — отступите, на время, хотя бы... Вы правы, вы совсем правы... Мы с вами согласны во всем... Но если нельзя...

Они сидели против меня, честные и встревоженные... сильно встревоженные.

— Положение плохое, — сказал министр... До чего мы дойдем?

— Доиграемся! — сказал товарищ министра.

Я отвечал:

— Вы знаете, я состою в «совещании по государственной обороне». У нас сейчас столько снарядов, сколько никогда не было. Маниковский недавно объяснил: если

взять расчет по Вердену (ту норму, сколько в течение пяти месяцев верденское орудие выпускало снарядов в сутки) и начать наступление по всему фронту, то есть от Балтийского моря до Персии, то мы можем по всему фронту из всех наших орудий поддерживать верденский огонь в течение месяца... У нас сейчас на складах тридцать миллионов полевых...

Великолепно, — сказал товарищ министра.

— Весной, по-видимому, начнется всеобщее наступление... Есть все шансы, что оно будет удачно... Если это будет так, то тогда вообще все спасено, — можно хоть прогнать Государственную думу...

И прогонять не придется, потому что на радостях все забудется.

— Значит, весь вопрос — продержаться два-три месяца... Не допустить взрыва... Потому что, если наступление будет неудачное, взрыв все равно будет.

— Будет, — сказал товарищ министра.

— Весьма возможно... — сказал министр.

— Непременно будет. Я недавно из Киева... Люди с ума сошли. Вы знаете, Киев достаточно черносотенный... И вот, меня ловили за рукава люди самые благонамеренные: «когда же, наконец, вы их прогоните?» Это они про правительство... И вы знаете, еще хуже стало, когда Распутина убили... Раньше все валили на него... А теперь поняли, что дело вовсе не в Распутине. Его убили, а ничего не изменилось. И теперь все стрелы летят прямо, не застревая в Распутине... Итак, надо выиграть время... Два-три месяца...

— Это так, — сказал министр, — но как же это сделать?

— Вот тут-то и начинается вопрос. Было два пути... Первый путь — это думу свести на нет. Правительство могло это сделать, не созывая ее. Может быть, и сама дума могла это сделать, так сказать, отступив, предоставив правительству самому стать лицом к лицу с нарастающим неудовольствием России.

— Нет, — сказал товарищ министра, — этого дума не могла сделать. Если большинство так бы и сделало, левые и кадеты подняли бы крик, только в гораздо более резкой форме.

— Вот в том-то и дело... В 1915 году во время великого отступления, когда созвали думу, для нас, правого крыла, стал вопрос: или стать на сторону правительства, конечно, виноватого в непредусмотрительности и в без-

дарности, или же, признав справедливым нарастающее неудовольствие, попытаться ввести его в наименее резкие, в самые приемлемые формы... Другими словами, недовольство масс, которое легко могло бы перейти в революцию, подменить недовольством думы... Наша цель была, чтобы массы оставались покойными, так как за них говорит дума... Таким образом, и создался прогрессивный блок. Этим шагом мы приковали кадет к минимальной программе... Так сказать, оторвали их от революционной идеологии, свели дело к пустякам. Но кадеты, с другой стороны, вовлекли нас в борьбу за власть... Мы хотели стать между улицей, и я бы сказал — между армией, в которой сильнейшее недовольство на «тыл», то есть на правительство, — и властью... Мы хотели успокоить армию, что ее никто не предаст и что о ней позаботятся, так как на страже ее интересов стоит дума. Когда я уезжал с фронта в 1915 году, это был всеобщий голос: «Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоедовых и Сухомлиновых, а были снаряды... Мы не хотим умирать с палками в руках». Все это я говорю к тому, чтобы объяснить, почему мы избрали этот путь... Путь, так сказать, «суда» вместо «самосуда». Путь парламентской борьбы вместо баррикад...

— А вы не думаете, что так вы скорее дойдете до баррикад?

— Вот в этом-то и вопрос. Что мы, сдерживаем или разжигаем?.. Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мне казалось, что мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину и заставляют двигаться вперед. Но мы упираемся. Держим друг друга за руки и не позволяем толпе прорваться... Так мы идем, упираясь, а нас давят в спину, уже полтора года... Бог его знает, если бы мы не сделали этой цепи, может быть, уже давно толпа прорвалась бы... Не забудьте, что цепь все время кричит: «Все для войны»... И этот наш вопль обращен одинаково к обеим сторонам: от армии мы требуем «всех жертв», а от правительства — «хоть немного жертвы»... Успокаивает ли это или разжигает? Кто знает? Мне кажется, все-таки успокаивает. Ведь смотрите: до сих пор ни одного покушения. А помните 1905 год? Тогда дождило бомбами!.. Теперь ни одного бунта, пока... А помните, тогда?.. Теперь наиболее бунтарским образом повели себя те, кто убили Распутина: они совершили первый и единственный пока акт террора. Значит, можно предполагать, что буйный элемент до

известной степени считается и не делает, пока он говорит. Додержимся ли? Будем надеяться, что додержимся. А если не додержимся?.. А если не додержимся, тогда...

— Тогда — конец! А потому, — даже принимая вашу схему, — не обостряйте...

— Да, конечно... Не думаю, чтобы и в планы кадет входило бы обострять. Ведь они знают: головы жирондистов оказались в одной корзине с монархистами.

— Они дают себе отчет в этом?

— Вполне... Они боятся революции. Ведь они три года кричали: «Все для войны». А следовательно, в случае революции это им припомнится. Жребий был брошен в 1915 году. А теперь, что Бог даст. Впрочем, разумеется, я буду, насколько могу, умерять блок, но если вы можете — действуйте там...

* * *

Государственная дума должна была возобновить свою сессию в начале февраля. Ко дню ее открытия ожидали выступлений. Главным образом опасались рабочих. Кажется, 10 февраля — появилось открытое письмо П. Н. Милюкова к рабочим Петрограда. В этот день, а может быть, днем раньше или позже появился «приказ» генерала Хабалова, градоначальника Петрограда. Странным образом оба эти документа оказались не так далеко один от другого. Аргументация местами совпадала («во имя родины»), и оба они, лидер оппозиции и градоначальник, требовали от рабочих сохранения спокойствия.

Но, по-видимому, тут было нечто более глубокое, чем то, что могло зависеть от коллективной воли рабочих или даже индивидуальных замыслов их вожаков. Что-то подточенное падало, и то, что падало, чувствовало сильнее подточенность и неизбежность падения, чем те рабочие, которые должны были быть последним порывом ветра, свалившим трехсотлетнее дерево. Милюков и Хабалов махали на них руками, приказывая: «не смей трогать!» — очевидно, чувствуя, что они могут свалить власть, хотя, по-видимому, сами рабочие были менее уверены в своих силах.

* * *

Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче.

Перед открытием думы по обыкновению составляли

формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формула перехода, сколько вылилось на бумагу то, что я чувствовал. Это было стенание на тему: «до чего мы дошли»... И помню, была такая фраза: «в то время как акты террора совершаются принцами императорской крови»... Заключение было, что требуются героические усилия, чтобы спасти страну.

Формула показалась всем слишком резкой. Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал, наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную...

* * *

Дума открылась сравнительно спокойно, но при очень скромном внутреннем самочувствии всех.

Затем центр тяжести перешел в бюджетную комиссию.

Там шел вопрос о хлебе. Я не помню хорошенько, в чем было дело, но помню, что сильно насиловали наши убеждения. Если не ошибаюсь, вопрос шел о «твердых ценах». Мы считали твердые цены источником расстройства государства. Это вообще была киевская точка зрения, которую с особенным упорством отстаивал А. И. Савенко (националист). О том, как Киев боролся спокон веков с социалистическими замашками, будет когда-нибудь, надеюсь, отмечено. Но в данном случае мы, в конце концов, должны были уступить, чтобы не расстраивать блока и не уменьшать поступательной силы решения, которое было бы все равно принято. Я, помню, употребил тогда такое сравнение:

— Если человек хочет прыгнуть в пропасть — надо всеми силами удерживать его. Но если ясно, что он все равно прыгнет — надо подтолкнуть его, потому что, может быть, в этом случае он допрыгнет до другого края.

Это было, быть может, последнее заседание Государственной думы. Шел все тот же вопрос о хлебе. На этом деле блок раскололся. Правая сторона поддерживала правительство, считая его план разверстки правильным. Левое крыло, очевидно, полагая, что не может быть «ничего доброго из Назарета», отвергало предложение правительства. Милюков сказал речь против, Шульгин — за. Товарищ министра А. А. Риттих говорил убедительно, го-

рячо, только очень нервно, слишком нервно. Он умолял не губить дела.

С внешней стороны было все, как всегда. Но на самом деле было иначе.

Тревога и грусть были разлиты в воздухе. Во время речи Милюкова, возражения Шульгина и убеждений Риттиха и во время других речей чувствовалось, что все это ненужно, запоздало, неважно...

Из-за белых колонн зала выглядывала Безнадежность... Она шептала:

— К чему? Зачем? Не все ли равно?

В кулуарах думы говорили в этот день, что А. А. Риттих после речи, придя к себе, в «павильон министров», — разрыдался...

* * *

26 февраля

В этот день утром неожиданно ко мне пришел Петр Бернгардович Струве. Он был взволнован и полубольной, но предложил мне двигаться к Маклакову.

— У Василия Алексеевича мы узнаем. И дума рядом...

В воздухе уже была разлита такая степень тревоги, что невозможно было сидеть дома: надо было быть там. Это я чувствовал и раньше и в особенности почувствовал, когда пришел Петр Бернгардович.

Мы пошли. Был морозный день, ясный... Ни одного трамвая, — трамваи стали, и ни одного извозчика. Нам надо было идти пешком к Таврическому дворцу — это верст пять. Петр Бернгардович еле шел, я вел его под руку.

На улицах было совершенно спокойно, но очень пусто. И было это спокойствие неприятно, ибо мы отлично знали, отчего стали трамваи, отчего нет извозчиков. Вот уже три дня в Петрограде не стало хлеба. И этот светлый день был «затишьем перед бурей», которая где-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами, таилась и накоплялась... Накоплялась не то на Невском, невидимом отсюда, не то вон там, на Выборгской стороне, около Финляндского вокзала...

Нева была особенно красива в этот день... Мы остановились передохнуть, опершись на парапет Троицкого моста... Расцвеченная солнцем перспектива набережных говорила о том, «что сделано», но от этого становилось только жутче, потому что, законченная в своей красоте,

она ничего не могла ответить на вопрос: «что сделается?»...

* * *

Василий Алексеевич спешил: его вызывали к Покровскому. Н. И. Покровский, министр иностранных дел, разумный и честный, был человек наиболее приемлемый «для думских сфер». Маклаков же был самый умеренный из кадет и самый умный. Он был наиболее приемлем «для правительственных сфер». Вместе с тем он не был «патриотом прогрессивного блока», вследствие своей всегдашней оппозиции Милюкову. Маклаков был тот человек, который мог стать связующим звеном между думой и правительством. Его приглашение к Покровскому могло обозначать многое. В ожидании его возвращения мы пошли в Таврический дворец.

* * *

В комнате № 11, как всегда, заседал блок, вернее, бюро прогрессивного блока. Председателем был Шидловский, Сергей Илиодорович. От кадет — Милюков и Шингарев, прогрессисты в это время уже ушли, от левых октябристов — Шидловский, от октябристов-земцев — граф Капнист (маленький, т. е. Дмитрий Павлович), а от центра, кажется, Владимир Львов, от националистов-прогрессистов — Половцев 2-й и я.

Хотя окна большие, но в три часа уже темно. За столом, крытым зеленым бархатом, мы сидели при свете настольных ламп, с темными абажурами. Сколько раз уже так сидели!

Я не помню, что обсуждалось... Но я чувствовал, что делается что-то не то... Я много раз уже это чувствовал.

Мы все критиковали власть... Но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят: «Ну, хорошо, критика легка — довольно критики, теперь пожалуйте сами! Итак, что надо делать?»... Мы имели «великую партию блока», в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы, но все это совершенно не затрагивало центрального вопроса: «Что надо сделать, чтобы лучше вести войну?»

Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих «друзей слева», но они отделывались от меня разными способами, а когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практическая про-

грамма состоит в том, чтобы добиться «власти, облеченной народным доверием». Ибо эти люди будут толковыми и знающими и поведут дело. Дать же какой-нибудь рецепт для практического управления невозможно; «залог хорошего управления — достойные министры», — это и на Западе так делается.

Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни и что это надо решать тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную.

Но сегодня мне казалось, что вопрос уже стал «вплотную». Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем, были ли мы готовы? Знали ли мы, хотя бы между собой, — кто? Ни малейшим образом.

Поэтому я сделал следующее предложение, приблизительно в таких словах:

— Хотя это может показаться неловким, неудобным и так далее, но наступило время, когда с этим нельзя считаться. На нас лежит слишком большая ответственность. Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда не годно. А что, если «станется по слову нашему»? Если с нами, наконец, согласятся и скажут: «Давайте ваших людей?» Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделываясь общей формулой, «людей, доверием общества облеченных», конкретных, живых людей... Я полагаю, что нам необходимо теперь уже, что это своевременно сейчас, — составить для себя, для бюро блока, список имен, т. е. людей, которые могли бы быть правительством.

Последовала некоторая пауза. Я видел, что все почувствовали себя неудобно. Слова попросил Шингарев и выразил, очевидно, мнение всех, что пока это еще невозможно. Я настаивал, утверждая, что время уже пришло; но ничего не вышло, никто меня не поддержал, и списка не составили. Всем было «неловко»... И мне тоже...

Таковы мы... русские политики. Переворачивая власть, мы не имели смелости или, вернее, спасительной трусости подумать о зияющей пустоте... Бессилие, свое и чужое, снова взглянули мне в глаза насмешливо и жутко!..

* * *

По окончании заседания мы вышли в Екатерининский зал. В дверях я столкнулся с Маклаковым. Мы шли вме-

сте, разговаривая о том, что с Покровским ничего особенного не вышло.

В это время в другом конце зала показался Керенский. Он по обыкновению куда-то мчался, наклонив голову и неистово размахивая руками. За ним, догоняя, старался Скобелев.

Керенский вдруг увидел нас и, круто изменив направление, пошел к нам, протянув вперед худую руку... для выразительности.

— Ну что же, господа-блок? Надо что-то делать! Ведь положение-то... плохо. Вы собираетесь что-нибудь сделать?

Он говорил громко, подходя. Мы сошлись на середине зала.

Кажется, до этого дня я не был официально знаком с Керенским. По крайней мере, я никогда с ним не разговаривал. Мы все же были в слишком далеких и враждебных лагерях. Поэтому для меня этот его «налет» был неожиданным. Но я решил им воспользоваться.

— Ну, если вы так спрашиваете, то позвольте, в свою очередь, спросить вас: по вашему-то мнению, что нужно? Что вас удовлетворило бы?

На изборожденном лице Керенского промелькнуло вдруг веселое, почти мальчишеское выражение.

— Что?.. Да в сущности немного!.. Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки.

— Чьи? — спросил Маклаков.

— Это безразлично. Только не бюрократические!

— Почему не бюрократические? — возразил Маклаков. Я именно думаю, что бюрократические... только в другие, толковее и чище.... Словом, хороших бюрократов. А эти «облеченные доверием» ничего не сделают!

Почему?

— Потому, что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь некогда...

— Пустяки! Вам дадут аппарат. Для чего же существуют все эти канцелярии и делопроизводители?!

— Как вы не понимаете, — вмешался Скобелев, обращаясь преимущественно ко мне, — что вы имеете д...д...д... доверие н...н...н... народа...

Он немножко заикался.

— Ну, а что еще надо? — спросил я Керенского.

— Ну, еще там, — он мальчишески, легкомысленно и весело махнул рукой, — свобод немножко. Ну там — печати, собраний и прочее такое...

— И это все?

— Все пока... Но спешите... спешите...

Он помчался, за ним — Скобелев...

Куда спешить?

Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, и себя...

Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... Мы способны были в крайнем случае безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... Под условием, чтобы императорский караул охранял нас...

Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась голова и немело сердце.

Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса...

27 февраля 1917 г.

Было девять часов утра... Неистово звонил телефон...

— Алло!

— Вы, Василий Витальевич?.. Говорит Шингарев... Надо ехать в думу... Началось...

— Что такое?

— Началось... Получен указ о роспуске думы... В городе волнение... Надо спешить... Занимают мосты... Мы можем не добраться... Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне... Поедем вместе...

— Иду...

* * *

Это было 27 февраля 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане... В Петрограде не стало хлеба — транспорт сильно разладился из-за необычайных снегов, морозов и главное, конечно, из-за напряжения войны... Произошли уличные беспорядки... Но дело было, конечно, не в хлебе... Это была последняя капля... Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти... И даже не в этом... Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала...

Не было в сущности ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает...

Класс былых властителей сходил на нет... Никто из них не способен был стукнуть кулаком по столу... Куда ушло знаменитое столыпинское «не запугаете»?.. По-

следнее время министры совершенно перестали даже приходить в думу... Только А. А. Риттих самоотверженно отстаивал свою «хлебную разверстку».

Но придя в павильон министров после своей последней речи, он разрыдался.

* * *

Мы жили с А. И. Шингаревым в одном доме на Большой Монетной, № 22, на Петроградской стороне... Это далеко от Таврического дворца... Надо переехать Неву... Последнее время жизнь уже так расхлябалась в Петрограде, что вопрос о сообщениях стал серьезным для тех, кто, как Шингарев и я, не имели своей машины...

* * *

Мы поехали... Шингарев говорил...

— Вот ответ... До последней минуты я все-таки надеялся — ну вдруг просветит господь Бог, — уступят... Так нет... Не осенило — распустили думу... А ведь это был последний срок... И согласие с думой, какая она ни на есть — последняя возможность... избежать революции...

— Вы думаете, началась революция?

— Похоже на то...

— Так ведь это конец.

— Может быть, и конец... а может быть, и начало...

— Нет, вот в это я не верю. Если началась революция — это конец.

— Может быть... Если не верить в чудо... А вдруг будет чудо!.. Во всяком случае, дума стояла между властью и революцией... Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей... А ведь... А ведь в сущности надо было продержаться еще два месяца...

— До наступления?

— Конечно. Если бы наступление было неудачно — все равно революции не избежать... Но при удаче...

— Да, при удаче — все бы забылось.

* * *

Мы выехали на Каменноостровский... Несмотря на ранний для Петрограда час, на улицах была масса народу... Откуда он взялся? Это производило такое впечатление, что фабрики забастовали... А может быть, и гимназии... а может быть, и университеты...

Толпа усиливалась по мере приближения к Неве... За памятником «Стерегущему», не помещаясь на широких

тротуарах, она движущимся месивом запрудила проспект...

Автомобиль стал...

Какие-то мальчишки, рабочие, должно быть, под предводительством студентов, распоряжались...

— Назад, мотор! Проходу нет!

Шингарев высунулся в окошко.

— Послушайте. Мы — члены Государственной думы. Пропустите нас, нам необходимо в думу.

Студент подбежал к окошку.

— Вы, кажется, господин Шингарев?

— Да, да, я — Шингарев... пропустите нас.

— Сейчас.

Он вскочил на подножку.

— Товарищи, пропустить! Это члены Государственной думы, — товарищ Шингарев.

Бурлящее месиво раздвинулось — мы поехали... Со студентом на подножке. Он кричал, что это едет «товарищ Шингарев», и нас пропускали. Иногда отвечали:

— Ура товарищу Шингареву!

Впрочем, ехать студенту было недолго. Автомобиль опять стал. Мы были уже у Троицкого моста. Поперек его стояла рота солдат.

— Вы им скажите, что вы в думу, — сказал студент. И исчез... Вместо него около автомобиля появился офицер. Узнав, кто мы, он очень вежливо извинился, что задержал.

— Пропустить. Это члены Государственной думы...

Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингарев сказал:

— Дума еще стоит между «народом» и «властью»... Ее признают оба... берега... пока...

На том берегу было пока спокойно... Мы мчались по набережной, но все это давно знакомое казалось жутким... Что будет?

На Шпалерной мы встретились с похоронной процессией... Хоронили члена Государственной думы М. М. Алексеенко... Жалеть или завидовать?..

* * *

Выражение «лица думы», этого знакомого фасада с колоннами, было странное... Такой она была в 1907 году, когда я в первый раз увидал ее... В ней и тогда было что-то... угрожающее...

Но швейцары раздели нас, как всегда... Залы были

темноваты. Паркеты поблескивали, чуть отражая белые колонны...

* * *

Стали съезжаться... Делились вестями — что происходит... Рабочие собрались на Выборгской стороне... Их штаб — вокзал, по-видимому... Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, поднятием рук... Взбунтовался полк какой-то... Кажется, Волынский... Убили командира... Казаки отказались стрелять... братаются с народом... На Невском баррикады...

О министрах ничего неизвестно... Говорят, что убивают городовых... Их почему-то называют «фараонами»...

* * *

Стало известно, что огромная толпа народу — рабочих, солдат и «всяких» — идет в Государственную думу... Их тысяч тридцать.

* * *

С. И. Шидловский созвал бюро прогрессивного блока... И вот мы опять собрались в той самой комнате № 11, где собирались всегда, где принимались решения... Решения, которые привели к этому концу, вернее, не сумели предупредить этого конца.

Шидловский, Шингарев, Милюков, Капнист II, Львов, В. Н. Половцев, я... еще некоторые... Ефремов, Ржевский, еще кто-то... Все те, кто вели думу последние годы... И довели...

Заседание открылось... Открылось под знаком того, что надвигается тридцатитысячная толпа... Что делать?..

Я не помню, что говорилось. Но помню, что никто не предложил ничего заслуживающего внимания... Да и могли ли предложить? Разве эти люди способны были управлять революционной толпою, овладеть ею? Мы могли под защитой ее же штыков говорить власти всякие горькие и дерзкие слова и, ведя «конституционную», т. е. словесную борьбу, удерживать массу от борьбы действием...

— Мы будем бороться с властью, чтобы армия, зная, что Государственная дума на страже, могла спокойно делать свое дело на фронте, а рабочие у станков могли спокойно подавать фронту снаряды... Мы будем говорить, чтобы страна молчала...

Этими словами я сам изложил смысл борьбы в своей речи 3 ноября 1916 года...

Но теперь словесная борьба кончилась... Она не привела к цели... Она не предотвратила революции... А может быть, даже ее ускорила... Ускорила или задержала?

Роковой вопрос повис над всеми нами, собравшимися в комнате № 11... Но не все его ощущали... Не все понимали свое бессилие... Некоторые думали, что и теперь еще мы можем что-то сделать, когда масса перешла «к действиям»... И что-то предлагали... Сидя за торжественно-уютными, крытыми зеленым бархатом столами, они думали, что «бюро прогрессивного блока» так же может управлять взбунтовавшейся Россией, как оно управляло фракциями Государственной думы.

Впрочем, я сказал, когда до меня дошла очередь...

— По-моему, наша роль кончилась... Весь смысл прогрессивного блока был — предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца... Но раз цель не удалась... А она не удалась, потому что эта тридцатитысячная толпа, это — революция... Нам остается одно... Думать о том, как кончить с честью...

Мы, конечно, ничего не решили в комнате № 11...

* * *

Потом было заседание в кабинете председателя думы... Это было заседание старейшин... Тут были представители всех фракций, а не только фракций прогрессивного блока...

Председательствовал Родзянко...

Шел вопрос, как быть... С одной стороны, императорский указ о роспуске (прекращение сессии), а с другой — надвигающаяся стихия...

В огромное, во всю стену кабинета зеркало отражался этот взволнованный стол... Мощный затылок Родзянки и все остальные... Чхеидзе, Керенский, Милюков, Шингарев, Некрасов, Ржевский, Ефремов, Шидловский, Капнист, Львов, князь Шаховской... Еще другие.

Вопрос стоял так: не подчиниться указу государя императора, то есть продолжать заседания думы, — значит, стать на революционный путь... Оказав неповиновение монарху, Государственная дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе этого восстания со всеми его последствиями...

* * *

На это ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадет, были совершенно неспособны... Мы были прежде всего лойяльным элементом... В нас уважение к престолу переплелось с протестом против того пути, которым шел государь, ибо мы знали, что это — путь к пропасти... Поэтому вся работа думы прошла под этим знаком... При докладах царю все, кто зависели или были вдохновляемы думой, всегда твердили одно и то же: этот путь ведет династию к гибели... Открыто же в своих речах в думе мы бранили министров... При этой травле, однако, не переходили конституционной грани и не затрагивали монарха... Это было основное требование Родзянки и большинства думы, которому должны были подчиниться все... Только раз Милюков прочел какую-то цитату из газеты по-немецки, в которой говорилось о «кружке молодой государыни»... Но это был всплеск, отклонение от основного пути...

* * *

Я не помню, что говорилось. Попомню решение: «Императорскому указу о роспуске подчиниться, — считать Государственную думу нефункционирующей, но членам думы не разъезжаться и немедленно собраться на частное совещание».

Чтобы подчеркнуть, что это — «частное совещание» членов думы, а не заседание Государственной думы, как таковой, решено было собраться не в большом Белом зале, а в «полуциркульном»...

* * *

Он едва вместил нас: вся дума была налицо. За столом были Родзянко и старейшины. Кругом сидели и стояли, столпившись, стеснившись, остальные... Встревоженные, взволнованные, как-то душевно прижавшиеся друг к другу... Даже люди, много лет враждовавшие, почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нечто была улица... уличная толпа... Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось... С улицей шествовала та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно. Потому что они были бледные с сжимаю-

щимися сердцами... По улице, окруженная многотысячной толпой, шла смерть...

* * *

Этой трепещущей, сгрудившейся около стола старейшин человеческой гуще, втиснутой в «полуциркульную» рамку зала, Родзянко доложил, что произошло... И поставил вопрос: «что делать?»

В ответ на это то там, то здесь, то справа, то слева просили слова взволнованные люди и что-то предлагали... Что?..

Я не знаю. Не помню. «Что-то»... Кажется, кто-то предложил Государственной думе объявить себя властью... Объявить, что она не разойдется, не подчинится указу... Объявить себя Учредительным собранием... Это не встретило, не могло встретить поддержки... Кажется, отвечал Милюков... Во всяком случае, Милюков говорил, рекомендуя осторожность, рекомендуя не принимать слишком поспешных решений, в особенности, когда мы еще не знаем, что происходит, и так ли это, как говорят, что старая власть пала, что ее больше нет, когда мы вообще еще не разобрались в обстановке и не знаем, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движение...

Кто-то говорил и требовал, чтобы дума сказала, с кем она: со старою властью или с народом? С тем народом, который идет сюда, который сейчас будет здесь и которому надо дать ответ.

В эту минуту около дверей заволновались, затолпились, раздался какой-то повышенный разговор, потом расступились, и в зал вбежал офицер...

Он перебил заседание громким заскакивающим голосом:

— Господа члены думы, — я прошу защиты!.. Я — начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную думу... Ворвались какие-то солдаты... Моего помощника тяжело ранили... Хотели убить меня... Я едва спасся. Что же это такое? Помогите...

Это бросило в взволнованную человеческую ткань еще больше тревоги.

Кажется, Родзянко ответил ему, что он в безопасности — может успокоиться...

В эту минуту заговорил Керенский.

— Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя!.. Я постепенно получаю сведения, что войска волнуются...

Они выйдут на улицу... Я сейчас еду по полкам!.. Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?..

Не помню, получил ли ответ Керенский... Кажется, нет... Но его фигура вдруг выросла в «значительность» в эту минуту... Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись... Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели...

— Я сейчас еду по полкам...

Казалось, что это говорил «власть имущий»...

— Он у них — диктатор.., — прошептал кто-то около меня.

Кажется, в эту минуту, а может быть, раньше, я попросил слова...

У меня было ощущение, что мы падаем в пропасть. Бессознательно я приготовился к смерти. И мне, очевидно, хотелось сказать нам всем эпитафию, сказать, что мы умираем такими, как жили.

— Когда говорят о тех, кто идет сюда, то надо прежде всего знать, кто они. Враги или друзья?.. Если они идут сюда, чтобы продолжать наше дело — дело Государственной думы, дело России, если они идут сюда, чтобы еще раз с новой силой провозгласить наш девиз: «все для войны», — то тогда они наши друзья, тогда мы с ними... Но если они идут с другими мыслями, то они друзья немцев... и нам нужно сказать им прямо и твердо: вы — враги, мы не только не с вами, мы против вас!

Кажется, это заявление произвело некоторое впечатление, но не имело последствий... Керенский еще что-то говорил... Он стоял, готовый к отъезду, решительный, бросающий резкие слова, чуть презрительный...

Он рос... Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время, как мы не умели даже ходить.

Кто-то предложил в горячей речи, что всем членам думы в это начавшееся тяжелое время нужно сохранить полное единство, — всем без различия партий, для того, чтобы препятствовать развалу. А для того, чтобы руководить членами думы, необходимо выбрать комитет, которому вручить «диктаторскую власть»... Все члены думы обязаны беспрекословно повиноваться комитету...

Это предложение в этой взволнованной, напуганной

атмосфере встретило всеобщую поддержку... Диктатура есть функция опасности: так было — так будет...

С большим единодушием, подавляющим числом голосов были избраны, слева направо:

Чхеидзе — социал-демократ.
Керенский — трудовик.
Ефремов — прогрессист.
Ржевский — прогрессист.
Милюков — кадет.
Некрасов — кадет.
Шидловский Сергей — левый октябрист.
Родзянко — октябрист-земец.
Львов Владимир — центр.
Шульгин — националист (прогрессист).

* * *

В сущности это было бюро прогрессивного блока с прибавлением Керенского и Чхеидзе. Это было расширение блока налево, о котором я когда-то говорил с Шингаревым, но, увы! — при какой обстановке произошло это расширение!..

Страх перед улицей загнал в одну «коллегию» Шульгина и Чхеидзе...

А улица надвигалась и вдруг обрушилась...

Эта тридцатитысячная толпа, которой грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха...

И это случилось именно, как обвал, как наводнение... Говорят (я не присутствовал при этом), что Керенский из первой толпы солдат, поползших на крыльцо Таврического дворца, попытался создать первый революционный караул...

— Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю — охранять Государственную думу... Объявляю вас первым революционным караулом!..

Но этот «первый революционный караул» не продержался и первой минуты... Он сейчас же был смят толпой...

* * *

Я не знаю, как это случилось... Я не могу припомнить... Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком затопляла думу...

Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким человеческим повидлом они залили

растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением...

* * *

С первого же мгновения этого потопа, отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность «великой» русской революции.

Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в думу все новые и новые лица... Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное...

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство.

— Пулеметов!

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлоги вырвавшегося на свободу страшного зверя...

Увы — этот зверь был... Его Величество русский народ!..

То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась.

* * *

С этой минуты Государственная дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если так можно выразиться. Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда — заняла все помещения, все залы, все комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... Своим бессмысленным присутствием, непрерывным гамом тысяч людей она парализовала бы нас даже в том случае, если бы мы способны были что-нибудь делать... Ведь и найти друг друга в этом море людей почти невозможно...

* * *

Впрочем, еще некоторое время продержался так называемый «Кабинет Родзянки». Все остальные комнаты и залы, в том числе, конечно, огромный Екатерининский зал, были залиты народом... Кабинет Родзянки еще пока удавалось отстаивать, и там собирались мы — «комитет Государственной думы».

* * *

Комитет Государственной думы был создан первоначально для руководства членами Государственной думы, которые обязались ему повиноваться.

Но сейчас же стало ясно, что его обязанности будут шире... Со всех сторон доходили вести, что власти больше нет, что войска взбунтовались, но что все они — «за Государственную думу»... Что вообще «революционная» столица за Государственную думу... Это давало надежды как-нибудь, быть может, овладеть движением, стать во главе его, не дать разыграться анархии.

Поэтому в первый же набросок о задачах комитета было включено, что комитет образовался для поддержания порядка в столице и для «сношений с учреждениями и лицами».

Меня лично в эти минуты больно мучил вопрос: что будет с фабриками и заводами? Не разрушит ли «революционный народ» все те приспособления, машины, станки и оборудование, которые с такой энергией воззвал к жизни генерал Маниковский по приказанию «Особого совещания по государственной обороне». Поэтому, по моему предложению, первое обращение, которое выпустил комитет, — был призыв беречь фабрики, заводы и все прочее...

* * *

Затем обсуждалось положение...

* * *

Положение!..

Покрывая непрерывный рев человеческого моря, в кабинет Родзянки ворвались крикливые звуки меди...

Марсельеза...

Вот мы где? Вот каково «положение»!

* * *

Против ига тирании
Поднято кровавое знамя.

Доигрались. Революция по всей «французской форме»!

* * *

К оружию, граждане,
Составляйте свои батальоны,
Вперед, вперед, пусть нечистая кровь
Зальет ваши поля...

* * *

Чья «нечистая кровь» должна пролиться? Чья?

«Ура», такое, что казалось, нет ему ни конца, ни края, залило воздух какою-то темною, дурманною жидкостью...

Стихло...

Долетают какие-то выкрики...

Это речь?.. Да...

И опять... Опять это ни с чем несоизмеримое «ура». И на фоне его резкая медь выкрикивает свои фанфарные слова:

Вы слышите, как по деревням
Ревут эти свирепые солдаты:
Они идут с целью убить в ваших объятиях
Ваших сыновей и ваших подруг.

Я помню во весь этот день и следующие — ощущение близости смерти и готовности к ней...

Умереть? Пусть.

Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда!

Ах, пулеметов — сюда, пулеметов!..

* * *

Но пулеметов у нас не было. Не могло быть.

Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всех нас было то, что мы не обеспечили себе никакой реальной силы. Если бы у нас был хоть один полк, на который мы могли твердо опереться, и один решительный генерал, — дело могло бы обернуться иначе.

Но у нас ни полка, ни генерала не было... И более того — не могло быть...

В то время в Петрограде «верной» воинской части уже или еще не существовало...

* * *

Офицеры? О них речь впереди. Да и никому в то время «опереться на офицерские роты» в голову не приходило...

Кроме того...

Кроме того, хотя я, конечно, был не один, который так чувствовал, т. е. чувствовал, что это конец... Чувствовал острую ненависть к революции с первого же дня ее появ-

ления... я ведь имел хорошую подготовку... я ненавидел ее смертельно еще с 1905 года... Хотя я, конечно, был не один... но все же нас было немного... Почти все еще не понимали, еще находились в... дурмане...

Нет, полка у нас не могло быть...

* * *

Полиция?

Да, пожалуй...

* * *

Но ведь разве мы-то сами были к чему-нибудь такому годны? Разве мы понимали?.. Разве мы были способны в то время «молниеносно» оценить положение, предвидеть будущее, принять решение и выполнить за свой страх и риск?..

Тот между нами, кто это сделал бы, — был бы Наполеоном, Бисмарком или Столыпиным... Но между нами таких не было...

Да, под прикрытием ее штыков мы красноречиво угрожали власти, которая нас же охраняла...

Но говорить со штыками лицом к лицу... Да еще с взбунтовавшимися штыками?..

Нет, на это мы были неспособны.

Беспомощные, — мы даже не знали, как к этому приступить... Как заставить себе повиноваться? Кого? Против кого? И во имя чего?

* * *

Меж тем, в сущности в этом был вопрос... Надо было заставить кого-то повиноваться себе, чтобы посредством повинующихся раздавить не желающих повиноваться...

Не медля ни одной минуты...

Но этого почти никто не понимал. И еще менее мог кто-нибудь выполнить...

* * *

На революционной трясине привычный к этому делу танцевал один Керенский...

Он вырастал с каждой минутой...

* * *

Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки... Эти «кочки-опоры», на которых нельзя было стоять, но по которым можно было пе-

ребегать, — были те революционные связи, которые Керенский имел: это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признававшие его авторитет. Вот почему на первых порах революции (помимо его личных качеств как первоклассного актера) — Керенский сыграл такую роль... Были люди, которые его слушались... Но тут требуется некоторое уточнение: я хочу сказать, были вооруженные люди, которые его слушались. Ибо в революционное время люди — только те, кто держит в руках винтовку. Остальные — это мразь, пыль, по которой ступают эти «винтовочные».

* * *

Правда, «вооруженные люди Керенского» не были ни полком, ни какой-либо «частью», вообще — ничем прочным. Это были какие-то случайно сколотившиеся группы... Это были только «кочки-опоры»... Но все же они у него были, и это было настолько больше наличности, имевшейся у нас, всех остальных, насколько нечто больше нуля...

* * *

Кому я, например, могу что-нибудь приказать? Своим же — членам Государственной думы? Но ведь они не были вооружены. А если бы были? Неужели можно было составить батальон из дряхлых законодателей?

По психологии, выступивший через год (время Корниловской эпопеи), может быть, и можно было бы. Тогда председатель Государственной думы и несколько ее членов сделали корниловский поход. Но 27 февраля 1917 года? Я убежден, что если бы сам Корнилов был членом Государственной думы, — ему это не пришло бы в голову.

Впрочем, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Государственной думы казаку Караулову. Он задумал «арестовать всех» и объявить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее «надежном» полку, он увидел, что если он не перестанет, то ему самому не сдобровать... Такой же прием ожидал каждого из нас... Кому мог приказать Милюков? Своим «кадетам»? Это — народ невинтовочный...

* * *

А у Керенского были какие-то маленькие зацепки... Они не годились ни для чего крупного. Но они давали

какую-то иллюзию власти. Это для актерской, легко воспламеняющейся и самой себе импонирующей натуры Керенского было достаточно... Какие-то группы вооруженных людей пробивались к нему сквозь человеческое месиво, залившее думу, искали его, спрашивали, что делать, как «защищать свободу», кого схватить?.. Керенский вдруг почувствовал себя «тем, кто приказывает»... Вся внешность его изменилась... Тон стал отрывист и повелителен...

«Движенья быстры»...

* * *

Я не знаю, по его ли приказанию, или по принципу «самозарождения», но по всей столице побежали добровольные жандармы «арестовывать»... Во главе — какой-нибудь студент вместо офицера, и группа «винтовщиков», — солдат или рабочих, чаще тех и других... Они врывались в квартиры, хватали «прислужников старого режима» и волокли их в думу.

Одним из первых был доставлен Щегловитов, председатель Государственного совета, бывший министр юстиции, тот министр, при котором был процесс Бейлиса* (— не потому ли он был схвачен первым?). Тут в первый раз Керенский «развернулся».

Группка, тащившая высокого седого Щегловатого, пробивалась сквозь месиво людей, и ей уступали дорогу, ибо поняли, что схватили кого-то важного... Керенский, извещенный об этом, резал толпу с другой стороны... Они сошлись...

Керенский остановился против «бывшего сановника» с видом вдохновенным:

— Иван Григорьевич Щегловитов — вы арестованы.

Властные, грозные слова... «Лик его ужасен».

— Иван Григорьевич Щегловитов... ваша жизнь в безопасности... Знайте: Государственная дума не проливает крови.

Какое великодушие... «Он прекрасен»...

---

* Один из позорнейших процессов, преследовавший цель очернить евреев в глазах христиан, обвинив их в убийствах с религиозной целью христианских мальчиков. Судебными властями, вдохновляемыми Щегловитовым, были пущены в ход невероятнейшие гнусности. Процесс вызвал всеобщее возмущение и окончился скандальным провалом правительства.

* * *

В этом сказался весь Керенский: актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови.

* * *

Церковь питает отвращение к крови.

Так говорили отцы-инквизиторы, сжигая свои жертвы....

Так и Керенский, сжигая Россию на костре «свободы», провозглашал:

— Дума не проливает крови...

Но как бы там ни было, лозунг был дан. Лозунг был дан, и дан в форме декоративно драматической, повлиявшей на умы и сердца...

Скольким это спасло тогда жизнь!

* * *

Комитет Государственной думы все заседал, что-то вырабатывая. Было уже поздно... Мне ужасно захотелось есть. И притом надо было посмотреть, что делается... Я стал пробиваться к буфету.

Все было забито народом. В большом Белом зале (зал заседаний Государственной думы) шел непрерывный митинг... В огромном Екатерининском — стояли, как в церкви... В Круглом, около входа — непрерывный водоворот. И из вестибюля еще и еще лила струя людей... Казалось, им не может быть конца...

Чтобы пробиться, куда мне было нужно, надо было включиться в благоприятный человеческий поток... Иначе никак нельзя было... Так должны были мы передвигаться — мы, хозяева, члены Государственной думы. Я толкался среди этой бессмысленной толпы, своим ненелепым присутствием парализовавшей всякую возможность что-нибудь делать... Тоска и бешенство бессилия терзали меня...

Наконец, поток вынес меня в длинный коридор, который через весь корпус думы ведет к ресторану... Я двигался медленно; в одном месте застрял... Чтобы не видеть хоть минуту всех этих гнусных лиц, я отвернулся к окну... Увы! — там, там еще хуже... Сплошная толпа серорыжей солдатни и черноватого штатско-рабочеподобно-

го народа залила весь огромный двор и толкалась там... Минутами толпу прорезали кошмарные огромные животные, ощетиненные и оглушительно-рычащие... Это были автомобили-грузовики, набитые до отказа революционными борцами... Штыки торчали во все стороны, огромные красные флаги вились над ними... Какое отвращение...

Вдруг кто-то, стоявший рядом со мной, сказал что-то. Я посмотрел на него. Это был солдат. Хмурый, как и я, он смотрел в окно. Потом повернулся ко мне. Лицо у него было какое-то «не в себе». Встретившись со мной глазами и, очевидно, что-то сообразив, он сказал, как бы продолжая то, что он бормотал:

— А у вас тут — нет? В Государственной думе?

Сначала я подумал, что он, наверное, просит папирос... Но вдруг понял, что это другое...

— Чего — нет? Что вы хотите?

Он смотрел в окно... Мазал пальцем по стеклу... Потом сказал нехотя:

— Да офицеров...

— Каких офицеров?

— Да каких-нибудь... Чтоб были подходящие...

Я удивился. А он продолжал, чуть оживившись...

— Потому как я нашим ребятам говорил: не будет так ладно, чтоб совсем без офицеров... Они, конечно, серчают на наших... Действительно, бывает... Ну, а как же так совсем без них? Нельзя так... Для порядку надо бы, чтоб тебе был офицер... Может, у вас в Государственной думе найдутся какие — подходящие?

* * *

На всю жизнь остались у меня в памяти слова этого солдата. Они искали в думе «подходящих офицеров». Не нашли... И не могли найти... У думы «своего офицерства» не было... Ах, если бы оно было... Если бы оно было, хотя бы настолько подготовленное, насколько была мобилизована «противоположная сторона»... Тогда борьба была бы возможна...

* * *

А «противоположная сторона» не дремала. Во всем городе, во всех казармах и заводах шли «летучие выборы»... От каждой тысячи по одному... Поднятием рук... Выбирали солдатских и рабочих депутатов... «Организовывали» массу... То есть, другими словами, работали над тем, чтобы подчинить ее себе...

А мы? Мы весьма плохо подозревали, что это делается, и во всяком случае не имели понятия о том, как это делается, и, безусловно, не имели никакого плана и мысли, как с этим бороться...

* * *

В буфете, переполненном, как и все комнаты, я не нашел ничего: все съедено и выпито до последнего стакана чаю... Огорченный ресторатор сообщил мне, что у него раскрали все серебряные ложки...

* * *

Это было начало: так «революционный народ» ознаменовал зарю своего «освобождения». А я понял, отчего вся эта многочисленная толпа имела одно общее неизреченно-гнусное лицо: ведь это были воры — в прошлом, грабители — в будущем... Мы как раз были на переломе, когда они меняли фазу... Революция и состояла в том, что воришки перешли в следующий класс: стали грабителями.

* * *

Я пошел обратно. В входные двери все продолжала хлестать струя человеческого прилива. Я смотрел на них и думал: «опоздали, голубчики, — серебро уже раскрали»... Как я их ненавидел! Старая ненависть, ненависть 1905 года бросилась мне в голову...

* * *

В одной проходной небольшой комнате был клубок людей, чего-то особенно волновавшихся... Центром этого клубка был человек в зимнем пальто и кашне, несколько растрепанный, седой, но еще молодой. Он что-то кричал, а к нему приставали. Вдруг он увидел как бы якорь спасения, очевидно, узнав кого-то. Этот кто-то был Милюков, пробивавшийся через толпу куда-то, белый, как лунь, но чисто выбритый и «с достоинством». Человек, слегка растрепанный, бросился к сохранившемуся Милюкову.

— Павел Николаевич! Что они от меня хотят? Я полгода был в тюрьме, меня вот оттуда вытащили, притащили сюда и требуют, чтобы я стал «во главе движения». Какого движения?! Что происходит? Я ведь ничего не знаю... Что такое? Что от меня нужно?

Я не слышал, что ответил ему Милюков... Но когда последний проплывал мимо меня, освободившись, я спросил его, кто этот человек.

— Разве вы не знаете? Это Хрусталев-Носарь*...

В это же мгновение какой-то удивительно противный, сухой, маленький, бритый, с лицом, как бывает у куплетистов скверных шантанов, протискался к Милюкову:

— Позвольте вам представиться, Павел Николаевич, ваш злейший враг...

Он сказал свою фамилию и исчез, а Милюков сказал мне:

— Этого вы, наверное, не знаете... Это — Суханов-Гиммер, журналист...

— Почему он ваш «злейший враг»?

— Он — «пораженец»... Злостный «пораженец» *...

* * *

Я не помню. Может быть, кто-нибудь помнит... В газетах того времени, вероятно, есть подробности... У меня от этого дня осталась в памяти только эта толпа, залившая Таврический дворец каким-то серым движущимся кошмаром, кошмаром говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб марсельезу...

В этой толпе, незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, как будто нас перенесли вдруг в совсем какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо, то его приветствовали так, как люди встречают соотечественников на чужбине и притом на враждебной чужбине...

* * *

К вечеру, кажется, стало известно, что старого правительства нет... Оно попросту разбежалось по квартирам...

---

* Председатель первого совета рабочих депутатов в Петербурге в 1905 г. Вместе с Троцким по суду был сослан за это в Сибирь, откуда бежал за границу. В эмиграции отошел от революционной деятельности. В начале войны, движимый «патриотическими» чувствами, вернулся в Россию, но был арестован и предан суду за побег из ссылки. Благодаря его странному поведению возникло подозрение в сумасшествии. Однако судебная экспертиза признала его здоровым. Февральская революция освободила Хрусталева из тюрьмы.

* Суханов никогда не был настоящим «пораженцем». Это — «интернационалист»-пацифист, лишь мечтающий о прекращении войны, но не борющийся за превращение ее в войну гражданскую, в революцию против господствующих классов.

Не было оказано никакого сопротивления... В этот день, если не ошибаюсь, никого не арестовали из министров... Правительство ушло, как будто даже раньше чем, кто-либо этого потребовал.

Не стало и войск... То есть гарнизон перешел на сторону восставшего народа»... Но вместе с тем войска как будто стояли «за Государственную думу»... Здесь начиналось смешение... Выходило так, что и Государственная дума «восстала» и что она — «центр движения»... Это было неверно... Государственная дума не восставала... Но это паломничество солдат на «поклонение Государственной думе» создавало двусмысленное положение...

Родзянко то и дело вызывали на крыльцо, потому что та или иная «часть» пришла приветствовать Государственную думу... Родзянко выходил, говорил о верности родине и о спасении России... Его слова пропускали мимо ушей, но в думе видели новую власть — это было ясно...

* * *

И ужас был в том, что этот ток симпатий к Государственной думе, принимавший порой трогательные формы, нельзя было использовать, нельзя было на него опереться...

Во-первых, потому, что мы не *умели* этого сделать...

Во-вторых, потому, что эти приветствовавшие — приветствовали думу, как *символ революции*, а вовсе не из уважения к ней самой.

В-третьих, потому, что вовсю *работала враждебная рука*, которая отнюдь не желала укреплять власть Государственной думы, стоявшей на патриотической почве... Это была рука будущих большевиков.

В-четвертых, потому что эти войска были уже не войска, а *банды вооруженных людей* без дисциплины и почти без офицеров...

И тем не менее...

И тем не менее, когда стало очевидно, что правительства больше нет, стало ясно и другое: что без правительства нельзя быть и часу. И что поэтому...

И что поэтому «Комитету Государственной думы», к которому начали бросаться со всех сторон за указаниями, приходится взвалить на себя шапку Мономаха...

* * *

Родзянко долго не решался. Он все допытывался, что это будет — бунт или не бунт?

— Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой

революции я не делал и не хочу делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались... Но я не революционер. Против верховной власти я не пойду. Не хочу идти. Но, с другой стороны, ведь правительства нет. Ко мне рвутся со всех сторон... Все телефоны обрывают. Спрашивают, что делать. Как же быть? Отойти в сторону? Умыть руки? Оставить Россию без правительства? Ведь это Россия же, наконец!.. Есть же у нас долг перед родиной?! Как же быть? Как же быть?

Спрашивал он и у меня. Я ответил, совершенно неожиданно для самого себя, совершенно решительно.

— Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите, как верноподданный... Берите, потому что держава Российская не может быть без власти... И если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Ведь сбежали? Да или нет?

— Сбежали... Где находится председатель совета министров — неизвестно. Его нельзя разыскать... Точно так же и министр внутренних дел... Никого нет... Кончено...

— Ну, если кончено, так и берите. Положение ясно. Может быть два выхода: все обойдется — государь назначит новое правительство — мы ему и сдадим власть... А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах... Берите, ведь, наконец, черт их возьми, что же нам делать, если императорское правительство сбежало так, что собаками их не сыщешь!..

Я вдруг разозлился. И в самом деле. Хороши мы, но хороши и наши министры... Упрямились, довели до черт знает чего и тогда сбежали, предоставив нам разделываться с взбунтовавшимся стотысячным гарнизоном, не считая всего остального сброда, который залепил нас по самые уши... Называется правительство великой державы. Слизь, а не люди...

С этой минуты во мне произошел какой-то внутренний перелом... Я стал искать выхода... Какого-нибудь выхода...

* * *

До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митинг в думе и хлещущая толпа через все залы. Прибывающие части с марсельезой. Звонки телефонов. Десятки, сотни растерянных людей, требовавших ответа, — что делать... Кучки вооруженных, приводивших арестованных...

К этому надо прибавить писание «воззваний» от Комитета Государственной думы и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу в ставку, с требованием немедленно на что-нибудь решиться, что-то сделать, действовать...

Увы! Как потом стало известно, в этот день государыня Александра Федоровна телеграфировала государю, что «уступки необходимы».

Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этот совет должен был быть подан осенью 1915 года. «Уступками» надо было расплатиться тогда за великое отступление «без снарядов»». Уплатить по этому счету и предлагало большинство 4-й Государственной думы. Но тогда уплатить за потерю двадцати губерний отказались... Теперь же... Теперь же, кажется, было поздно... Цена «уступкам» стремительно падала... Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море?..

* * *

Кажется, этой ночью дума вроде как бы вооружилась... Толпа схлынула... Но какой-то солдатский табор ночевал в думе... В сенях стояли пулеметы... Учреждена была, кажется, должность коменданта Государственной думы... Под утро, выбившись из сил, мы дремали в креслах в полукруглой комнате, примыкающей к кабинету Родзянки, — в «кабинете Волконского»... Просыпаясь от времени до времени, я думал о том, что можно сделать?.. Где выход, где выход?..

* * *

Я отчетливо понимал и тогда, как и теперь, как и всегда, сколько я себя помню, что без монархии не быть России. И мысль вертелась: как спасти монархию... Монархию, которая по тысячам причин и, может быть, больше всего собственными руками приготовила себе гибель. И, должно быть, в эту бессонную ночь пришла мысль, которая, правильная или нет — об этом будет судить история — свелась к следующему:

Быть может, пожертвовав монархом, удастся спасти монархию...

Так, бесформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль об отречении императора Николая II в пользу малолетнего наследника... Разумеется, родилась не у одного меня...

* * *

В эту же ночь, если не ошибаюсь, одну из комнат (бюджетной комиссии) занял «исполком совдепа»... Это дикое в то время название обозначало: «исполнительный комитет совета солдатских и рабочих депутатов»...

* * *

Кошмарная ночь... Где мы? Что, собственно, происходит? До какой степени развала уже дошли? Что с Россией? Что с армией? Знают ли уже? Если не знают, то завтра узнают... Как примут? Что произойдет?

Нужен центр! Нужен во что бы то ни стало какой-то фокус... Не то все разбредется... все разлетится... будет небывалая анархия... А главное — армия, армия! Все пропало, если развал начнется в армии. А он непременно начнется, если сейчас, сейчас же не будет кому повиноваться... Нельзя допустить, чтобы там произошло, как здесь, — взбунтовавшиеся солдаты без офицеров... Надо, чтобы туда дошло готовое решение... Пусть думают, что власть взята Государственной думой... Они сразу не разберутся, что Государственная дума сама по себе не может быть властью — для них это будет звучать... Для них это лозунг — «Государственная дума»... И для России тоже... Это звучит в провинции... Они будут верить несколько дней... Здесь будет некоторое время распоряжаться «комитет Государственной думы»... Пока решится вопрос о государе...

О государе. Да, вот это главное, самое важное... Может он царствовать? Может ли? О, как это узнать, как? Нет... не может... Все это, что было... Кто станет за него? У него — никого, никого... Распутин всех съел, всех друзей, все чувства... нет больше верноподданных... есть скверноподданные и открытые мятежники... последние пойдут против него — первые спрячутся... Он один... хуже, чем один... Он — с тенью Распутина... Проклятый мужик!.. Говорил Пуришкевичу — не убивайте, вот он теперь мертвый — хуже живого... Если бы он был жив, теперь бы его убили... хоть какая-нибудь отдушина. А то — кого убивать? Кого? Ведь этому проклятому сброду надо убивать, он будет убивать — кого же?

Кого?.. Ясно...

Нет, этого нельзя. Надо спасти, надо.

* * *

Чтобы спасти... чтобы спасти... надо или разогнать всю эту сволочь (и нас вместе с ними) залпами, или...

Надо отречься от престола...

Ценой отречения спасти жизнь государю... и спасти монархию...

* * *

Если подавить бунт можно, то и слава Богу. Это сделают не только без нас, но и против нас...

Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет пятьдесят тысяч «февралистов», то это будет задешево купленное спасение России...

Это будет значить, что у нас есть государь, что у нас есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полков, ни полковников не найдется?..

Тогда... тогда — отречение... царствовать будет малолетний царь... значит — регент. Регент? Михаил Александрович? Да, кажется... Потом верховный главнокомандующий... Ну, великий князь Николай Николаевич, конечно...

Затем... Затем — правительство... Но кто?

* * *

Кто? В сущности... в сущности — некого... Ломали, ломали копья, а для кого — неизвестно... Ну, Милюков, Шингарев, конечно... Затем Керенский... Да, Керенского необходимо... Он самый деятельный... сейчас... Актер? Да, кажется... Все равно... Талантливый актер. На первых порах это — главное... Его одного слушают... Да и нужно — для левых. Родзянко? Родзянко пойдет только в премьеры, а в премьеры нельзя, не согласятся левые и даже кадеты... Пусть останется председателем думы... А будет дума? Что-то не похоже... В сущности, мы в плену... Ах, проклятая гуща... Неужели завтра возобновится весь этот кошмар?.. Надо вздремнуть... Хоть минутку покоя, пока их нет... их... кого? Революционного сброда... то есть я хотел сказать — народа... да, Его Величества народа... о, как я его ненавижу!..

28 февраля

Наступил день второй, еще более кошмарный... «Революционный народ» опять залил думу... Не протиснуться... Вопли ораторов, зверское ура, отвратительная мар-

сельеза... И при этом еще бедствие — депутации. Неистовое количество людей от неисчислимого количества каких-то учреждений, организаций, обществ, союзов, я не знаю чего, желающих видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную думу и новую власть... Все они говорят какие-то речи, склоняя «народ и свобода»... Родзянко отвечает, склоняя «родина и армия»... Одно не особенно клеится с другим, но кричат «ура» неистово... Однако кричат «ура» и речам левых... А левые склоняют другие слова... «Темные силы реакции, царизм, старый режим, революция, демократия, власть народа, диктатура пролетариата, социалистическая республика, земля трудящимся» и опять — свобода, свобода, свобода — до одури, до рвоты... Всем кричат «ура». Некоторые начинают уже приветствовать и «Совет солдатских и рабочих депутатов»... Его исполнительный комитет сидит у нас под боком... Мы ясно чувствуем, что это — вторая власть... Впрочем, Керенский и Чхеидзе избраны и там: они вошли в исполком... Они служат мостом между этими двумя головами. Да, получается нечто двуглавое, но отнюдь не орел. Одна голова кадетская, а другая еще детская, но по всем признакам — от «вундеркинда», т. е. наглая и сильно горбоносая... Впрочем, и от «кавказской обезьяны» есть там доля порядочная...

Полки по-прежнему прибывают, чтобы поклониться. Все они требуют Родзянко... Родзянко идет, ему командуют «на караул»; тогда он произносит речь громовым голосом... Кричат «ура»!.. Играют марсельезу, которая режет нервы... Михаил Владимирович очень приспособлен для этих выходов: и фигура, и голос, и апломб, и горячность... При всех его недостатках он любит Россию и делает, что может, т. е. кричит изо всех сил, чтобы защищали родину... И люди загораются, и вот оглушительное «ура»... Но сейчас же вслед за этим выползает какая-нибудь «кавказская обезьяна» или еще похуже и говорит пораженческие мерзости, разжигая злобу и жадность... У них через каждое слово — «помещики», царская клика, Распутин, крепостники, опричники, жандармы»... И им тоже кричат «ура», да, да, — кричат, и напрасно Михаил Владимирович себя обольщает, что Государственная дума взяла власть. Вздор. Болото кругом. Ни на что нельзя опереться... Это оглушительное «ура», это — мираж. Ведь я знаю, чему они так рады... Потому что надеются не пойти на фронт. Почти все части без офицеров... Где офицеры?

* * *

Тем не менее, «Комитет Государственной думы» работает в этот день вовсю... Правительства нет, все брошено... Весь огромный механизм остановлен на полном ходу, остановлен и обезглавлен... Всеобщий развал неминуем, если не принять самых экстренных мер... Положение таково, что многих старых бюрократов нельзя оставить... Часть их даже арестована добровольными сыщиками и притащена сюда... Часть бежала... Часть надо заменить, потому что... Ну, потому что их не удержать. Кем заменить? Кто имеет авторитет — реальной силы ведь нет?.. Кто?

И решили посылать членов Государственной думы «комиссарами»... То есть временно «исполняющими должность сановников»... Никто не смел отказываться... Ведь все обещали беспрекословное повиновение «Комитету Государственной думы»... И не было случая отказа... Мы назначали такого-то туда-то, Родзянко подписывал, и человек ехал. Из крупных назначений и удачных было назначение члена думы инженера Бубликова комиссаром в «пути сообщения». Он сразу овладел железными дорогами. Может быть, он и сделал кое-какие ошибки, но, благодаря ему, железные дороги не стали. Не помню остальных — их много было... Ведь всюду, всюду требовалось, все учреждения умоляли «прислать члена Государственной думы». Авторитет их был высок еще... Чем дальше от Таврического дворца, тем обаяние Государственной думы было сильнее и воспринималось пока как власть...

* * *

Но здесь... Здесь росло противодействие... Противодействие этого проклятого исполкома, который опирался на всю эту толпу, залепившую Государственную думу... Ах, если бы у нас был хоть один верный полк, чтобы вымести отсюда всю эту банду и занять караулы... Но полка нет... И офицеров нет...

* * *

Еще одним бедствием были аресты... Целый ряд членов думы занят исключительно тем, чтобы освобождать арестованных... Еще слава богу, что дан лозунг: «Тащи в думу, там разберут»... дума обратилась в громадный участок... С тою только разницей, что раньше в участок таскали городовые, а теперь тащат городовых... Их по

преимуществу... Многих убили — «фараонов»... Большинство приволокли сюда... Остальные прибежали сами, спасаясь, прослышав, что «Государственная дума не проливает крови»... За это Керенскому спасибо. Пусть ему зачтут это когда-нибудь. Жалкие эти городовые, сил нет на них смотреть. В штатском, переодетые, испуганные, приниженные, похожие на мелких лавочников, которых обидели, стоят громадной очередью, которая из дверей выходит во внутренний двор думы и там закручивается... Они ждут очереди быть арестованными... Но, говорят, некоторые герои до сих пор сражаются... Отдельные сидят по крышам с механическими ружьями и отстреливаются... Или это все вздор — эти пулеметы на крышах?.. Не разберешь, кто их туда послал, и даже были ли они там... Во всяком случае, какая невероятная ошибка правительства была разбросать полицию по всему городу... Надо было всех собрать в кулак и выжидать... Когда все части взбунтовались бы, потеряли дисциплину — стройному кулаку их легко было бы раздавить... Но кто это мог сообразить? Протопопов? Александр Дмитриевич? Министр внутренних дел с прогрессивным параличом? А ведь мы же сами его и подсунули... Ведь он был товарищем председателя Государственной думы... Это положение ведь и был тот трамплин, с которого он прыгнул в министры...

Как все это ужасно!

Арестованных масса. Арестовали и некоторых членов думы... Кабинет Родзянко мы еще удерживаем... Сюда мы стараемся сконцентрировать арестованных, которых можно немедленно освободить...

* * *

Я не помню точно, когда это было. Но это было в кабинете Родзянко. Я сидел против того большого зеркала, что занимает почти всю стену. Вся большая комната была сплошь набита народом. Беспомощные, жалкие — по стеночкам примостились на уже сильно за эти дни потрепанных креслах и красных шелковых скамейках — арестованные. Их без конца тащили в думу. Целый ряд членов Государственной думы только тем и занимались, что разбирались в этих арестованных. Как известно, Керенский дал лозунг: Государственная дума не проливает крови. Поэтому Таврический дворец был прибежищем всех тех, кому угрожала расправа революционной демократии. Тех, кого нельзя было выпустить, хотя бы из со-

ображений их собственной безопасности, направляли в так называемый «павильон министров», который гримасничающая судьба сделала «павильоном арестованных министров». В этом отношении между Керенским, который главным образом «ведал» арестным домом, и нами установилось немое соглашение. Мы видели, что он играет комедию перед революционным сбродом, и понимали цели этой комедии. Он хотел спасти всех этих людей. А для того, чтобы спасти, надо было делать вид, что, хотя Государственная дума не проливает крови, она «расправится» с виновными...

Остальных арестованных (таковых было большинство), которых можно было выпустить, мы передерживали вот тут, в кабинете Родзянко. Они обыкновенно сидели несколько часов, пока для них изготовлялись соответственные «документы». Кого тут только не было...

Исполняя 1001 поручение, как и все члены комитета, я как-то, наконец, выбившись из сил, опустился в кресло в кабинете Родзянко против того большого зеркала... В нем мне была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во все стороны разными людьми, но видна была и соседняя, «кабинет Волконского», где творилось такое же столпотворение. В зеркале все это отражалось несколько туманно и несколько картинно...

Вдруг я почувствовал, что из кабинета Волконского побежало особенное волнение, причину которого мне сейчас же шепнули:

— Протопопов арестован!

И в то же мгновение я увидел в зеркале, как бурно распахнулась дверь в кабинете Волконского и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками — тщедушную фигурку с совершенно затурканным, странно съежившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова...

— Не сметь прикасаться к этому человеку!

Это кричал Керенский, стремительно приближаясь, бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезая толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на «этого человека»...

Этот человек был «великий преступник против революции» — «бывший» министр внутренних дел.

— Не сметь прикасаться к этому человеку!

Все замерли. Казалось, он его ведет на казнь, на что-то ужасное. И толпа расступилась... Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками... Мрачное зрелище...

Прорезав «кабинет Родзянки», Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками и всяким сбродом...

Здесь начиналась реальная опасность для Протопопова... Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигуру, вырвать ее у часовых, убить, растерзать, — настроение было накалено против Протопопова до последней степени.

Но этого не случилось. Пораженная этим странным зрелищем — бледным Керенским, влекущим свою жертву, — толпа раздалась перед ними...

— Не сметь прикасаться.... к этому человеку!

И казалось, что «этот человек» вовсе уже и не человек...

И пропустили. Он прорезал толпу в Екатерининском зале и в прилегающих помещениях и довел до павильона министров... А когда дверь павильона захлопнулась за ними — дверь охраняли самые надежные часовые — комедия, требовавшая сильного напряжения нервов, кончилась, Керенский бухнулся в кресло и пригласил «этого человека».

— Садитесь, Александр Дмитриевич.

* * *

Протопопов пришел сам. Он знал, что ему угрожает, но он не выдержал «пытки страхом». Он предпочел скрыванию, беганию по разным квартирам отдаться под покровительство Государственной думы.

Он вошел в Таврический дворец и сказал первому попавшемуся студенту:

— Я — Протопопов...

Ошарашенный студент бросился к Керенскому, но по дороге разболтал всем, и к той минуте, когда Керенский успел явиться, вокруг Протопопова уже было толпа, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. И тут Керенский нашелся. Он схватил первых попавшихся солдат с винтовками и приказал им вести за собой «этого человека».

* * *

В этот же день Керенский спас и другого человека, против которого было столько же злобы. Привели Сухомлинова. Его привели прямо в Екатерининский зал, набитый сбродом. Расправа уже началась. Солдаты уже набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдат и, закрывая собой, провел его в спасительный павильон министров. Но в ту минуту, когда он его впихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками... Тогда Керенский со всем актерством, на какое он был способен, вырос перед ними:

— Вы переступите через мой труп.

И они отступили...

* * *

В этот день дела испортились в полках. Хотя почти все части, которые являлись в Государственную думу, были без офицеров, но все же до сих пор открытых враждебных действий против офицерства, как такового, не наблюдалось. А сегодня это началось. И по телефону, и личные делегации из разных петроградских полков стали просить, чтобы приехать повлиять на солдат, которые вышли из повиновения и стали угрожать. Комитет Государственной думы немедленно занялся этим. Сначала послали желающих, независимо от их левизны. Поехали те, кто чувствовал себя в силах говорить с толпой, главным образом, звонкий голос... Они поехали, вернулись через некоторое время в очень хорошем настроении. Так, помню, в один из полков послали одного правого националиста, человека искреннего и с убедительными нотками в его несколько бочковатом басе. Он вернулся.

— Да ничего... Хорошо. Я им сказал, — кричат «ура». Сказал, что без офицеров ничего не будет, что родина в опасности. Они кричали «ура». Обещали, что все будет хорошо, они верят Государственной думе...

— Ну, слава Богу...

Только вдруг зазвонил телефон...

— Откуда? Алло?

— Как? Да ведь только что у вас были... Все же кончилось очень хорошо... Что? Опять волнуются? Кого? Кого-нибудь полевее? Хорошо. Сейчас пришлем.

Посылаем Милюкова. Милюков вернулся через час. Очень довольный.

— Да вот... Они немного волнуются. Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах... Я говорил в казарме с какого-то эшафота. Был весь полк, и из других частей... Ну, настроение очень хорошее. Меня вынесли на руках...

Но через некоторое время телефон зазвонил снова и отчаянно.

— Алло! Слушаю! Такой-то полк? Как, опять? А Милюков?.. Да они его на руках вынесли... Как? Что им надо? Еще левей.. Ну, хорошо. Мы пришлем трудовика...

Мы послали, кажется, Скобелева. Он на время успокоил. Затем, кажется, послали кого-то из эс-деков.... Затем?

Затем офицерство стало разбегаться. Их жизни угрожала опасность. Часть покинула казармы, часть со страха сбежала в Государственную думу...

День прошел, как проходит кошмар. Ни начала, ни конца, ни середины — все перемешалось в одном водовороте. Депутации каких-то полков; беспрерывный звон телефона, бесконечные вопросы, бесконечное недоумение — «что делать?»; непрерывное посылание членов думы в различные места; совещания между собою; разговоры Родзянко по прямому проводу; нарастающая борьба с исполкомом совдепа; засевшим в одной из комнат; непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей думу; жалобные лица арестованных; хвосты городовых, ищущих приюта в Таврическом дворце; усиливающаяся тревога офицерства... — все это переплелось в нечто, чему нельзя дать названия по его нервности, мучительности...

В конце концов, что мы могли сделать? Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тех нескольких человек, которые могли бы что-нибудь скомбинировать. Представьте себе, что человека опускают в густую-густую, липкую мешанину. Она обессиливает каждое его движение, не дает возможности даже плыть, она слишком для этого вязкая... Приблизительно в таком мы были положении, и потому все наши усилия были бесполезны: это были движения человека, погибающего в трясине... По этой трясине, прыгая с кочки на кочку, мог более или менее двигаться только Керенский...

Ночью толпа понемногу схлынула. Это не значило, что она ушла совсем. Какие-то военные части ночевали у нас в большом Екатерининском зале.

В полутемноте ряд совершенно посеревших колонн с ужасом рассматривает, что происходит. Они, видевшие Екатерину, они, видевшие думу Народного Гнева, эпоху Столыпина, наконец, неудачные попытки пресловутого «блока» спасти положение, — видят теперь Его Величество Народ во всей его красе. Блестящие паркеты покрылись толстым слоем грязи. Колонны обшарпаны и побиты, стены засалены, меблировка испорчена, — в манеж превращен знаменитый Екатерининский зал.

Все, что можно было испакостить, испакощено, и это — символ. Я ясно понял, что́ революция сделает с Россией: все залепит грязью, а поверх грязи положит валяющуюся солдатню...

* * *

Я вернулся в кабинет Родзянки, который был еще прибежищем. Там все-таки было немножко лучше, еще не допустили улицу, еще сохранилось кое-что. На ночь осталось ночевать несколько человек — членов Государственной думы.

Я улегся на какой-то кушетке. Рядом со мною поместился Некрасов. Он, после Керенского, оказался человеком, наиболее приспособленным для скака́ния по революционному болоту. Он проявлял энергию.

Укладываясь, он сказал мне:

— Вы знаете, что в городе еще происходят бои?..

— Как?

— Да... Еще кто-то там держится в Адмиралтействе. На Адмиралтейство идут штурмом. Там, кажется, Хабалов еще сидит... Их можно бы разогнать, если бы запалить из Петропавловской крепости...

— То есть как запалить? Ведь мы же, слава Богу, не делаем революции...

— Ну да... Но видите... Ведь это же невозможно... Ведь власть все равно сбежала... Правительство сейчас — это комитет Государственной думы... Он взял власть в свои руки... Какой же смысл в этом Адмиралтействе?.. Кто там засел и для чего?.. Вот поэтому и неприятно, что Петропавловка не в наших руках...

— Как так...

— Да так... Гарнизон Петропавловской крепости сидит там, и комендант говорит, что он не может, что ему поручено охранять крепость... Ну, — словом, они не с нами...

— То есть как не с нами?.. Да ведь с кем же мы?

Что же мы в самом деле с этой... ну, — словом, с «ними»?

— Нет, конечно... Но все же необходимо делать вид... Ведь если нас хоть немного слушаются, то потому, что мы против старой власти...

— Позвольте... Мы были против министров... Но когда же мы были против военной власти? Вы же говорите, что там Хабалов — командующий войсками.

— Ну да, конечно, происходит путаница... Ведь надо же, чтобы одному кому-нибудь повиновались... Ну, дума — так дума... Ну, словом, кому-нибудь из нас надо поехать в Петропавловскую крепость, чтобы все это уладить. Надо поговорить с комендантом... Вы не поехали бы?..

Я соображал...

Пустить несколько снарядов из Петропавловской крепости в адмиралтейство — до чего додумался Некрасов!.. Этого именно как раз ни в коем случае нельзя допустить... Стрелять «по хабалову»... В то время, когда мы употребляем все усилия, чтобы сохранить авторитет офицеров? Что за галиматья!..

И я решил сам поехать в Петропавловскую крепость...

* * *

Но пришлось ждать утра... Потому что не были готовы воззвания от комитета Государственной думы, которые где-то печатались и которые мне надо было отвезти. Я иногда засыпал на несколько минут, потом просыпался и в полутемноте видел Родзянковский кабинет и несколько фигур, свалившихся от усталости... Они лежали там и сям в неудобных позах, истомленные, изведенные... Это были современные «властители России»...

1-го марта 1917 г.

Рано утром принесли свежепахнувшие типографской краской листки. Их принес кто-то — видимо, офицер, но без погон. Откуда он взялся — не знаю. Некрасов рекомендовал мне взять его с собою, так сказать, для сопровождения... Кроме того, мне дали не то простыню, не то наволоку — это должно было изображать белый флаг... Я вышел на крыльцо, — было холодно и сыро, чуть туманно, но день, кажется, собирался быть солнечным... Несмотря на ранний час, уже было достаточно народу на дворе. Все больше солдаты.

Мне подали автомобиль... Боже мой, неужели мне придется?..

Над автомобилем был красный флаг, и штыки торчали во все стороны... Мой офицер отворил мне дверцу... Ничего не поделаешь...

Стали мелькать знакомые, казавшиеся незнакомыми, улицы... Вот только двое суток прошло, а все кажется новым, как будто прошли годы... Шпалерная... Навстречу нам идут какие-то части с музыкой, очевидно, «на поклон» Государственной думе... Набережная... Неужели это та самая Нева?.. Бродят какие-то беспорядочные толпы вооруженных людей, рычат и проносятся ощетиненные штыками грузовики... Зачем они несутся?.. Сами не знают, конечно... «За свободу!»...

Вот Троицкий мост... Толпа увеличивается по мере приближения к крепости...

На Каменноостровском, против длинных мостов, которые ведут через канал к крепости, — митинг... Откуда взялись эти люди так рано?

Подъехали к мосткам... Толпа все же не смеет еще проникнуть «туда». Она еще уважает часового... Мой спутник говорит, что надо «махать белым флагом».

Но я отлично вижу в том конце офицера, который явно нас ожидает... Я перед отъездом приказал позвонить из Государственной думы...

Я иду по мосткам. Он радостно срывается нам навстречу...

— Мы вас так ждали... Ах, как хорошо, что вы приехали... Пожалуйте — комендант вас ждет...

* * *

Пройдя по бесконечным коридорам, мне до той поры незнакомым, я нашел коменданта, почтенного генерала. С ним было несколько офицеров...

Я сказал коменданту:

— Я прислан сюда для переговоров... От имени комитета Государственной думы... Как вы смотрите на положение вещей, ваше превосходительство?..

Старый генерал заволновался.

— Да вот, видите... Ведь вы должны нас понимать... Пожалуйста, не думайте, что мы против Государственной думы... Наоборот, мы понимаем, мы очень рады... что в такое время какая-нибудь власть... Мы всецело подчиняемся Государственной думе, вот я и господа офицеры... Но ведь я думаю, для каждой власти, для всякого правительства необходимо сохранить то, что у нас под охраной... У нас, вы знаете, во-первых, царские могилы,

потом монетный двор, наконец, арсенал... Ведь вы же подумайте... Это же невозможно, чтоб толпа сюда ворвалась. Это же необходимо охранять для всех, для каждого правительства... Мы не можем то, что нам поручили... мы не можем... мы должны охранять... Это наш долг... присяги...

Я перебил старика...

— Ваше превосходительство, не трудитесь доказывать то, что совершенно ясно для каждого... здравомыслящего человека... Так как вы изволили сказать, что признаете власть Государственной думы, — то я от имени Государственной думы — прошу вас и настаиваю... Очень рад, что могу это сделать в присутствии господ офицеров... Крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало...

Генерал просветлел...

— Ну вот... Теперь все ясно... Теперь мы спокойны... теперь мы знаем, чего держаться... Но вы не согласны были бы оставить письменный приказ?

Я написал от имени комитета Государственной думы — приказ коменданту Петропавловской крепости — охранять ее всеми имеющимися в его распоряжении силами и ни в коем случае не пускать толпу на территорию крепости.

Но меня беспокоила одна мысль... Ведь почему Бастилию сожгли? Думали, что в ней политические арестованные, хотя ни одного арестованного в Бастилии тогда уже было. Как бы не «повторилась история»...

— Скажите, пожалуйста, у вас есть арестованные — политические?

— Нет... есть только одиннадцать солдат, арестованных уже за эти беспорядки...

— Этих вам придется выпустить...

— Сейчас будет сделано.

— Но я не этим интересуюсь... есть ли политические... которых освобождения могут «требовать»? Вы понимаете меня?

— Понимаю... Нет ни одного... Последний был генерал Сухомлинов... Но и он освобожден несколько времени тому назад...

— Неужели все камеры пусты?

— Все... Если желаете, можете убедиться...

— Нет, мне убеждаться не надо... Но вот те — там на Каменноостровском — могут не поверить... И поэтому сделаем так: если от меня приедут члены Государствен-

ной думы и предъявят мою записку, — предоставьте им взять несколько человек из толпы и покажите им все камеры... Пусть убедятся сами...

— Слушаюсь, но только по вашей записке...

— Да, до свидания...

Мы стали уходить, но ко мне обратились с просьбой несколько офицеров — сказать речь гарнизону, который волнуется...

— Поддержите нас... офицеров... чтобы они знали, что Государственная дума требует дисциплины...

Во дворе был выстроен гарнизон... Раздалась команда «смирно»...

Я сказал им речь... Я говорил о том, что в то время, когда происходят такие большие события, нужно помнить об одном, — что идет война, что все мы находимся под взглядом врага, который сторожит, чтобы на нас броситься, и, если чуточку ослабеем, — сметет нас... И все пойдет прахом... И вместо свободы, о которой мы мечтаем, — получим немца на шею... А всякий военнослужащий знает, что армия держится только одним — дисциплиной... Нравится начальник или не нравится, это не имеет никакого значения... об этом про себя рассуждай, у себя в душе, а повинуйся ему не как человеку, а как начальнику... В этом и есть разумная свобода... «Повинуюсь, потому что люблю родину, и не позволю, чтобы враг ее раздавил». Господа офицеры, с которыми я только что говорил, находятся в полном согласии с Государственной думой; Государственная дума в моем лице отдает приказ защищать крепость во что бы то ни стало!

И так далее в этом роде...

Слушали, по-видимому, понимали и даже сочувствовали...

Когда я кончил, кто-то крикнул:

— Ура товарищу Шульгину!..

Но, уходя под это «ура», я очень ясно чувствовал, что дело скверно...

* * *

Перейдя мостки, я увидел, что толпа на Каменноостровском страшно увеличилась и возбуждена... Но тут сопровождающий меня офицер оказался как раз у места. Он вскочил на автомобиль и, стоя, разразился своеобразной речью, из которой можно было понять, что Петропавловская крепость «за свободу» и все вообще благопо-

лучно... Толпа кричала «ура». И почему-то пришла в благодушное настроение...

В это время я увидел, что через Троицкий мост несутся к нам несколько грузовиков, угрожающе разукрашенных моторами, они остановились перед мостками, рядом с нашей красными флагами и торчащими штыками... Бешено рыча машиной... Люди были в большом возбуждении, щелкали затворами и кричали:

— Почему она (крепость) красного флага не подняла? Открыть военные действия!..

Мой офицер перескочил с сиденья нашего автомобиля на мотор грузовика и завопил оглушительно:

— Дурачье набитое! Открыть ему «военные действия»! А какого черта тебе «действия»... когда она бездействует! Вот член Государственной думы!.. Все уже там сделано! Крепость — за свободу! за народ!!.. а ему — «военные действия»... Повоевать захотелось?.. Не навоевались?

Он сделал смешную и презрительную рожу. Толпа стала на его сторону...

— Ну, проваливай, «военные действия»!.. Тоже!..

Те смутились. Мой офицер не дал им опомниться...

— Заворачивай!..

«Завернули» и поехали.

Так я «взял» Петропавловскую крепость... Некрасов мог быть доволен.

* * *

Возвращаюсь в Государственную думу. Толпа стоит огромная, заняв не только двор полностью, но и Шпалерную... Наш автомобиль с трудом пробивает себе дорогу... Мой офицер кричит:

— Пропустите члена Государственной думы!..

И пропускают. Теснятся... Мы продираемся сквозь это живое мясо. Я сидел прямо, глядя перед собой... Мне противно было смотреть на них... Бог его знает как, — они это почувствовали... Когда автомобиль застрял в воротах, я разобрал насмешливое замечание:

— Какая величественность во взгляде...

Я предпочел «не услышать».

* * *

Все пространство между крыльями Таврического дворца набито людьми. Рыжевато-серо-черная масса, изу-

крашенная штыками. Солдаты, рабочие, интеллигенты... Революционный народ...

Господи, чего им надо? Моя машина под протекторатом красного флага пробивается через эту кашу...

Слава богу, наконец я опять в Таврическом дворце... Слава богу? Да... Да — там, в «кабинете Родзянко», есть еще близкие люди. Да, близкие, потому что они жили на одной со мной планете. А эти? Эти — из другого царства, из другого века... Эти — это страшное нашествие нео-варваров, столько раз предчувствуемое и, наконец, сбывшееся... Это — скифы. Правда, они с атрибутами XX века — с пулеметами, с дико рычащими автомобилями... Но это внешнее... В их груди косматое, звериное, истинно-скифское сердце...

* * *

Вышел из автомобиля... Пробиваюсь через залы Таврического дворца...

Все то же...

Все та же толпа, все тот же митинг, все то же завывание марсельезы...

Но есть и новое...

За столиками, примостившись где-нибудь между обшарпанных, когда-то белых колонн, сидят барышни-еврейки, с виду — дантистки, акушерки, фармацевты, и торгуют «литературой».

Это — маркитантки революции...

В разных комнатах на дверях бумажки с надписями... Какие-то «бюро», «учреждения» с дикими названиями... Очевидно, они прочно оседают... они завоевывают Таврический дворец шаг за шагом...

* * *

Пробиваюсь в кабинет Родзянки. Но что же это такое? И тут — «они»!

Где же — «мы»?

— Пожалуйте, Василий Витальевич, — комитет Государственной думы перешел в другое помещение...

Вот оно, это «другое помещение». Две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки... Где у нас были самые какие-то неведомые канцелярии...

Вот откуда будут управлять отныне Россией...

* * *

Но здесь я нашел всех своих. Они сидели за столом, покрытым зеленым бархатом... Посередине — Родзянко, вокруг остальные... Керенского не было... Но не успел я рассказать, что было в Петропавловке, как дверь «драматически» распахнулась. Вошел Керенский... за ним двое солдат с винтовками. Между винтовками какой-то человек с пакетами.

«Трагически-повелительно» Керенский взял пакет из рук человека...

— Можете идти...

Солдаты повернулись по-военному, а чиновник — просто. Вышли...

Тогда Керенский уронил нам, бросив пакет на стол:

— Наши секретные договоры с державами... Спрячьте...

И исчез так же драматически...

— Господи, что же мы будем с ними делать? — сказал Шидловский, — ведь даже шкафа у нас нет...

— Что за безобразие! — сказал Родзянко. — Откуда он их таскает?

Он не успел разразиться: его собственный секретарь вошел поспешно.

— Разрешите доложить... Пришли матросы... Весь гвардейский экипаж... Желают видеть председателя Государственной думы...

— А черт их возьми совсем! Когда же я займусь делами? Будет этому конец?

Секретарь невозмутимо переждал бутаду.

— С ними и великий князь Кирилл Владимирович...

— Надо идти, — сказал кто-то...

Родзянко ворча пошел. Был он огромный и внушительный. Нес он в эти дни «свое положение» самоотверженно. С утра до вечера и даже ночью ходил он на крыльцо или на улицу и принимал «поклонение частей». Солдаты считали каким-то своим долгом явиться в Государственную думу, словно принять новую присягу. Родзянко шел, говорил своим запорожским басом колокольные речи, кричал о родине, о том, что «не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку-Русь»... — все такое говорил и вызывал у растроганных (на минуту) людей громкое «ура»... Это было хорошо — один раз, два, три... Но без конца и без счета — это была тяжкая обязанность, каторжный труд, который совершенно отрывал

от какой бы то ни было возможности работать... А ведь «комитет Государственной думы» пока заменял все... Власть, и закон, и исполнителей... Родзянко был на положении председателя совета министров... И вот «положение»... Премьер вместо того, чтобы работать, каждую минуту должен бегать на улицу и кричать «ура», а члены правительства одни — «берут крепости», другие — ездят по полкам, третьи — освобождают арестованных, четвертые просто теряют голову, заталкиваемые лавиной людей, которые все требуют, просят, молят руководства...

Я видел, что так не может продолжаться: надо правительство. Надо как можно скорее правительство...

— Куда же деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие есть... Откуда Керенский их добыл?

— Этот человек был из министерства иностранных дел... Очевидно, видя, что делается, он бросился к Керенскому, так как боялся, что не в состоянии будет их сохранить... А Керенский приволок сюда...

— Что за чепуха!.. Так же нельзя! Ну, спасли эти договоры, — но все остальное могут растащить... Мало ли по всем министерствам государственно-важных документов... Неужели же все их сюда свалить?

— И куда? Нет не только шкафа, но даже ящика нет в столе... Что с ними делать?

Но кто-то нашелся.

— Знаете что — бросим их под стол... Под скатертью ведь совершенно не видно... Никому в голову не придет искать их там... Смотрите...

И пакет отправился под стол... Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола... Великолепно. Как раз самое подходящее место для хранения важнейших актов державы Российской...

Полно... Есть ли еще эта держава? Государство ли это, или сплошной огромный, колоссальный сумасшедший дом?

* * *

Опять Керенский... Опять с солдатами. Что они еще тащат?

— Можете идти...

Вышли...

— Тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили... Так больше нельзя... Надо скорее назначить комиссаров... Где Михаил Владимирович?

— На улице...

— Кричит «ура»? Довольно кричать «ура»! Надо делом заняться... господа члены комитета!

Он исчез... Исчез трагически-повелительный...

* * *

Мы бросили два миллиона к секретным договорам, т. е. под стол, — не «под сукно», а под бархат...

Я подошел к Милюкову, который что-то писал на уголке стола...

— Павел Николаевич...

Он поднял на меня глаза...

— Павел Николаевич, — довольно этого кабака. Мы не можем управлять Россией из-под стола... Надо правительство...

Он подумал.

— Да, конечно, надо... Но события так бегут...

— Это все равно... Надо правительство, и надо, чтобы вы его составили... Только вы можете это сделать... Давайте, подумаем, кто да кто...

Подумать не дали...

Взволнованные голоса в соседней комнате... Несколько членов Государственной думы — не-членов комитета — вошли, так сказать, штурмом...

— Господа, простите, но так нельзя!.. Надо сделать что-нибудь... В полках бог знает что происходит. Там скоро будут убивать, если не убивают... Надо спасти...

— Кого убивают? Что такое?

— Офицеров... надо помочь... надо!

* * *

Конечно, надо помочь... Несколько офицеров было тут же... Растерянные, бледные... Мы спешно послали несколько человек... Поехал и Милюков... Остальные... остальные остались, так сказать, дежурить, ибо было постановлено, что комитет заседает всегда — не расходится до выяснения положения...

* * *

Опять? Что еще такое?

— В Екатерининском зале огромная депутация... Надо, чтобы кто-нибудь к ним вышел... их там обрабатывают левые... Ради бога, господа!

Мы переглянулись...

— Сергей Илиодорович — пойдемте...

Шидловский поморщился, но сказал:

— Иду...

* * *

В сотый раз вернулся Родзянко... Он был возбужденный, более того — разъяренный... Опустился в кресло...

— Ну что, как?

— Как? Ну, и мерзавцы же эти...

Он вдруг оглянулся.

— Говорите, их нет...

«Они» — это был Чхеидзе и еще кто-то, словом — левые...

— Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо... Я им сказал речь... Встретили меня как нельзя лучше... Я сказал им патриотическую речь — как-то я стал вдруг в ударе... — Кричат «ура»! Вижу — настроение самое лучшее... Но только я кончил, кто-то из них начинает...

— Из кого?

— Да из этих... как их... собачьих депутатов... От исполкома, что ли — ну, словом, от этих мерзавцев...

— Что же они?

— Да вот именно, что же... «Вот председатель Государственной думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасали... Так ведь, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть, что спасать... немалый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли!.. А может быть, и еще в какой-нибудь есть... Например, в Новгородской... Там, говорят, едешь лесом, что ни спросишь: чей лес? Отвечают: Родзянковский... Так вот родзянкам и другим помещикам Государственной думы есть что спасать... Эти свои владения, княжеские, графские и баронские... они называют русской землей... Ее и предлагают вам спасать, товарищи... А вот вы спросите председателя Государственной думы, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля... из помещичьей... станет вашей, товарищи?». Понимаете, вот скотина!

— Что же вы ответили?

— Что я ответил? Я уже не помню, что я ответил... Мерзавцы!..

Он так стукнул кулаком по столу, что запрыгали под скатертью секретные документы...

— Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаем своих, а это хамье думает, что земли пожалеем. Да будет она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет? Сволочь подлая! Хоть рубашку снимите, но Россию спасите! Вот что я им сказал!

Его голос начинал переходить пределы...

— Успокойтесь, Михаил Владимирович.

* * *

Но он долго не мог успокоиться... Потом...

Потом поставил нас «в курс дел»... Он все время ведет переговоры со ставкой и с Рузским... Он, Родзянко, все время по прямому проводу сообщает, что происходит здесь, сообщает, что положение вещей с каждой минутой ухудшается; что правительство сбежало; что временно власть принята Государственной думой в лице ее комитета, но что положение ее очень шаткое, во-первых, потому, что войска взбунтовались — не повинуются офицерам, а наоборот, угрожают им; во-вторых, потому, что рядом с комитетом Государственной думы вырастает новое учреждение — именно «исполком», который, стремясь захватить власть для себя, — всячески подрывает власть Государственной думы, в-третьих, вследствие всеобщего развала и с каждым часом увеличивающейся анархии; что нужно принять какие-нибудь экстренные спешные меры; что вначале казалось, что достаточно будет ответственного министерства, но с каждым часом промедления — становится хуже; что требования растут... Вчера уже стало ясно, что опасность угрожает самой монархии... возникла мысль, что все сроки прошли и что, может быть, только отречение государя императора в пользу наследника может спасти династию... Генерал Алексеев примкнул к этому мнению...

— Сегодня утром, — прибавил Родзянко, — я должен был ехать в ставку для свидания с государем императором, доложить его величеству, что, может быть, единственный исход — отречение... Но эти мерзавцы узнали... и когда я собирался ехать — сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезда... Не пустят поезда! Ну как вам это нравится?! Они заявили, что одного меня они не пустят, а что должен ехать со мною Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный — я с ними к государю не поеду!.. Чхеидзе должен был сопровождать батальон «ре-

волюционных солдат»!.. Что они там учинили бы!.. Я с этими скот...

Меня вызвали по совершенно неотложному делу...

* * *

Это был тот офицер, который ездил со мною «брать Петропавловку».

— Там неблагополучно... Собралась огромная толпа... тысяч пять... Требуют, чтобы выпустили арестованных...

— Да ведь их нет...

— Не верят... Я только что оттуда... Гарнизон еле держится... Каждую минуту могут ворваться... Я их успокоил на минутку, сказал, что сейчас еду в Государственную думу и что кто-нибудь приедет... Но надо спешить...

— Сейчас...

Я сел к столу и стал писать ту записку, о которой условился с комендантом...

Потом, — не знаю уж как и почему — передо мной очутились члены Государственной думы Волков (кадет) и Скобелев (социалист).

— Господа, поезжайте... Помните Бастилию: она была сожжена только потому, что не поверили, что нет заключенных... Надо, чтоб вам поверили!..

Волков с живыми глазами сильно воспринимал... Скобелев, немножко заикающийся, тоже хорошо чувствовал — я видел.

Я сказал ему:

— Ведь они вас знают... Вы популярны... Скажите им речь.

Они поехали...

* * *

Я застал комитет в большом волнении... Родзянко бушевал:

— Кто это написал?! Это они, конечно, мерзавцы. Это прямо для немцев... Предатели!.. Что теперь будет?

— Что случилось?..

— Вот прочтите.

Я взял бумажку, думая, что это прокламация... Стал читать... и в глазах у меня помутилось... Это был знаменитый впоследствии «приказ № 1».

— Откуда это?

— Расклеено по всему городу... на всех стенках...

Я почувствовал, как чья-то коричневая рука сжала мое сердце. Это был конец армии...

* * *

Последствия немедленно сказались... Со всех сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают... Офицерство стало метаться... Многие, боясь, пробивались в Государственую думу... помня лозунг «Государственная дума не проливает крови». Другие стали по чьему-то приглашению собираться в зал армии и флота, на углу Литейного и Кирочной... Стало известно, что около 2000 офицеров собралось там и что идет заседание... Настроение большинства «за Государственную думу» и «за порядок». Третьи увеличили число людей, осаждавших комитет Государственной думы», прося указаний...

С каждым часом настроение ухудшалось... Из различных мест сообщалось о насилии над офицерами...

* * *

Это были решающие минуты... Если бы можно было вооружить собравшихся в зале армии и флота офицеров, а главное, если бы можно было на них рассчитывать, т. е. если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, корниловского закала, если бы кто-нибудь понял значение военных училищ и, главное, если бы был человек калибра Петра I или Николая I, — эта минута могла бы спасти все... Можно было раздавить бунт, ибо весь этот «революционный народ» думал только об одном, — как бы не идти на фронт... Сражаться он бы не стал... Надо было бы сказать ему, что Петроградский гарнизон распускается по домам... Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического дворца, восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство, не «доверием страны облеченное», а опирающееся на настоящую гвардию... Да, на *настоящую гвардию*...

Гвардии у нас не было... Были гвардейские полки... Но чем они отличались от не-гвардейских?.. Тем, что гвардейские офицеры принадлежали к аристократическим фамилиям... Но аристократия далеко не всегда была опорой престола...

Гвардия должна состоять из солдат, не менее офицеров настроенных гвардейски... Поэтому в гвардии должны служить люди не по набору, а добровольно, и за хорошее жалование...

Притом — нельзя пускать гвардию на войну...

Гвардия должна оставаться в полной неприкосновенности, и назначение ее не против врагов внешних, а против врагов внутренних... Сражаться с врагом внешним можно до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии... Гвардия должна быть на случай проигранной войны... Тогда она вступает в действие, одной рукой приводит в христианский вид деморализованную поражением армию, другой — удерживает в границах повиновения бунтующееся население...

Проигранная война всегда грозит революцией... Но революция неизмеримо хуже проигранной войны. Поэтому гвардию нужно беречь для единственной и почетной обязанности — бороться с революцией...

Представим себе, что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы. Самое большее, что случилось бы, — это отречение императора Николая II. Затем допустим, что разложившаяся армия бросила бы фронт. Новый император или регент заключил бы мир — пусть невыгодный, но что же делать?.. Затем, при помощи гвардии, восстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшиеся войска неспособны бороться с полками, сохранившими дисциплину... Пусть беспорядки продолжались бы год, два, три... — все равно: власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тем более, что с каждым днем анархия надоедала бы...

Итак, быть может, главный грех старого режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии... Пусть это будет наукой будущим властителям...

* * *

Я отвлекся. Продолжаю. Вернулись Волков и Скобелев. Они были возбуждены и довольны.

— Ну, удалось?

— Удалось!.. кажется, теперь уже успокоятся...

— Расскажите...

— Мы застали толпу в сильнейшем возбуждении...

— Большая толпа?..

— Огромная... Весь Каменноостровский сплошь — много тысяч...

— Чего же они хотели?

— Выдачи арестованных... Рвались в крепость... Вы недаром упомянули о Бастилии... Так оно и было...

— Гарнизон?

— Гарнизон еще держался... Но они были страшно перепуганы... Не знали, что делать... пустить оружие в ход? Боялись... Да и не знали, будут ли солдаты действовать...

— Что вы сделали?

— Мы, во-первых, заявили, что мы — члены Государственной думы... Нас приняли хорошо, кричали «ура». Тогда мы объявили, что пойдем осматривать камеры... И предложили... Словом, захватили с собой, так сказать, понятых...

— Ну?

— Предъявили ваш пропуск... Нас очень любезно приняли и водили повсюду...

— Никого нет?

— Никого решительно... Мы тогда вышли к ним... Объяснили, что никого нет... Очень помогал этот офицер ваш — молодец! И потом понятые, конечно. Они тоже говорили, объясняли... Были, конечно, сомневающиеся... Но громадное большинство поняло, что дело чистое... Благодарили, кричали «ура». Мы им сказали речь. Просили их разойтись по домам... Не затруднять, так сказать, «дела свободы»... Скобелев очень хорошо говорил.

* * *

Это, кажется, единственное дело, которым я до известной степени могу гордиться... Петропавловскую крепость с могилами императоров удалось спасти таким маневром. Уцелела «русская Бастилия», в которой в течение двух веков консервировались «борцы за свободу», те, которые столько времени сеяли «разумное, доброе, вечное» и, наконец, дождались всхода своих посевов...

О, скажет вам спасибо сердечное, скажет — русский народ...

Подождите только...

* * *

Я не помню. Тут начинается в моих воспоминаниях кошмарная каша, в которой перепутываются: бледные офицеры; депутации; ура; марсельеза; молящий о спасении звон телефонов; бесконечная вереница арестованных; хвосты несчетных городовых; роковые ленты с прямого провода; бушующий Родзянко; внезапно появляющийся, трагически исчезающий Керенский; спокойно-обреченный Шидловский; двусмысленный Чхеидзе; что-то делающий Энгельгардт; весьма странный Некра-

сов; раздражительный Ржевский... Минутные вспышки не то просветления, не то головокружения, когда доходят вести, что делается в армии и в России... Отклики уже начали поступать; телеграммы, в которых в восторженных выражениях приветствовалась «власть Государственной думы»...

Да, так им казалось издали... Слава Богу, что так казалось... На самом деле — никакой власти не было. Была, с одной стороны, кучка людей, членов Государственной думы, совершенно задавленных или, вернее, раздавленных тяжестью того, что на них свалилось. С другой стороны — была горсточка негодяев и маньяков, которые твердо знали, чего они хотели, но то, чего они хотели, было ужасно: это было — в будущем разрушение мира, сейчас — гибель России... Приказ № 1, который валялся у нас на столе, был этому доказательством...

Но все-таки что-то надо было делать и во что бы то ни стало надо было ввести какой-нибудь порядок в надвигающуюся анархию. Для этого прежде всего и во что бы то ни стало надо образовать правительство. Я повторно и настойчиво просил Милюкова, чтобы он, наконец, занялся списком министров. В конце концов он «занялся».

* * *

Между бесконечными разговорами с тысячью людей, хватающих его за рукава, принятием депутаций, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале, сумасшедшей ездой по полкам, обсуждением прямопроводных телеграмм из ставки, грызней с возрастающей наглостью Исполкома — Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, писал список министров...

И несколько месяцев тому назад, и перед самой революцией я пытался хоть сколько-нибудь выяснить этот злосчастный список. Но мне отвечали, что «еще рано». А вот теперь... теперь, кажется, было поздно...

* * *

— Министр финансов?.. Да, вот видите... это трудно. Все остальные как-то выходят, а вот министр финансов...

— А Шингарев?

— Да нет, Шингарев попадает в земледелие...

— А Алексеенко умер...

Счастливый Алексеенко. Его тело везли в торжествен-

ном катафалке навстречу революционному народу, стремившемуся в Таврический дворец...

— Кого же?

Мы стали думать. Но думать было некогда. Ибо звонки по телефону трещали из полков, где начались всякие насилия над офицерами... А терявшая голову человеческая гуща зажимала нас все теснее липким повидлом, в котором нельзя было сделать ни одного свободного движения.

Надо было спешить... Мысленно несколько раз пробежав по расхлябанному морю знаменитой «общественности», пришлось убедиться, что в общем плохо...

Князь Львов, о котором я лично не имел никакого понятия, а «общественность» твердила, что он замечательный, потому что управлял «Земгором», непререкаемо въехал в Милюковском списке на пьедестал премьера...

А кого мы, не-кадеты, могли бы предложить?

Родзянко?

Я бы лично стоял за Родзянко, он, может быть, наделал бы неуклюжестей, но, по крайней мере, он не боялся и декламировал «Родину-Матушку» от сердца и таким зычным голосом, что полки каждый раз кричали за ним «ура»...

Правда, были уже и такие случаи, что после речей левых тот самый полк, который только что кричал «ура Родзянке», неистово вопил «долой Родзянку». То была работа «этих мерзавцев»... Но, может быть, именно Родзянко скорее других способен был с ними бороться... А впрочем — нет. Родзянко мог бы бороться, если бы у него было два-три совершенно надежных полка. А так как в этой проклятой каше у нас не было и трех человек надежных, то Родзянко ничего бы не сделал. И это было совершенно ясно, хотя бы потому, что когда об этом заикались, все немедленно кричали, что Родзянку «не позволят левые».

То есть, как это «не позволят»?! Да так. В их руках все же была кой-какая сила, хоть и в полуанархическом состоянии... У них были какие-то штыки, которые они могли натравить на нас. И вот эти, «относительно владеющие штыками», соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имели в их глазах известный ореол. Родзянко же был для них только «помещик» екатеринославский и новгородский, чью землю надо прежде всего отнять...

Итак, Львов — премьер... Затем министр иностранных

дел — Милюков, это не вызывало сомнений. Действительно, Милюков был головой выше других и умом, и характером. Гучков — военный министр. Гучков издавна интересовался военным делом, за ним числились несомненные заслуги. Будучи руководителем третьей Государственной думы, он очень много сделал для армии. Он настоял на увеличении вдвое нашего артиллерийского запаса. Он старался продвинуть в армию все наиболее талантливое. Он первый дешифрировал Мясоедова...

Шингарев, как министр земледелия, тоже был признанным авторитетом. Неизвестно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюс, а минус... Но это в наших глазах. А в глазах кадетских — совсем наоборот.

Прокурор святейшего синода? Ну, конечно, Владимир Николаевич Львов. Он такой «церковник» и так много что-то «обличал» с кафедры Государственной думы...

С министром путей сообщения было несколько хуже, но все-таки оказалось, что инженер Бубликов, он же член Государственной думы, он же решительный человек, он же приемлемый для левых, «яко прогрессист» — подходит.

Но вот министр финансов не давался, как клад...

И вдруг каким-то образом в список вскочил Терещенко.

* * *

Михаил Иванович Терещенко был очень мил, получил европейское образование, великолепно «лидировал» автомобиль и вообще производил впечатление дэнди гораздо больше, чем присяжные аристократы. Последнее время очень «интересовался революцией», делая что-то в военно-промышленном комитете. Кроме того, был весьма богат.

Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов?

А вот потому, что Бог наказал нас за наше бессмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрямилась, цепляясь за своих Штюрмеров, то так же обречены были и мы, ибо сами сошли с ума и свели с ума всю страну мифом о каких-то гениальных людях, «общественным доверием облеченных», которых на самом деле вовсе и не было...

Очень милый и симпатичный Михаил Иванович, которому, кажется, было года 32, — каким общественным

доверием он был облечен на роль министра финансов огромной страны, ведущей мировую войну в разгаре революции?..

Так, на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так: изобразят как плод глубочайших соображений и результат «соотношения реальных сил». Я же рассказываю, как было. Тургенев утверждал, что у русского народа «мозги — набекрень». Все наше революционное движение ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатом которой и был этот список полуникчемных людей, как приз за сто лет «борьбы с исторической властью»...

* * *

Тяжелее и глупее всего было в этой истории положение наше — консервативного лагеря. Ненависть к революции мы всосали если не с молоком матери, то с Японской войны. Мы боролись с революцией, сколько хватало наших сил, всю жизнь. В 1905 мы ее задавили. Но вот в 1915, главным образом потому, что кадеты стали полупатриотами, нам, патриотам, пришлось стать полукадетами. С этого все и пошло. «Мы будем твердить — все для войны, — если вы будете бранить власть»... И вот мы стали ругаться, чтобы воевали. И в результате оказались в одном мешке с революционерами, в одной коллегии с Керенским и Чхеидзе.

* * *

Нерассказываемый и непередаваемый бежал день... зарываясь в безумие... и грозя кровью...

Вечером додумались пригласить в «комитет Государственной думы» делегатов от «Исполкома», чтобы договориться до чего-нибудь. Всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность. В сущности вопрос стоял — или мы, или они. Но «мы» не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Государственной думе. «Они» же не имели еще достаточной силы. Хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося Петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось «силою Государственной думы». Надо было

сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать. Поэтому мы их позвали, а они — пришли...

* * *

Пришло трое... Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, человек очень левый и очень глупый, о котором говорили, что он автор приказа № 1. Если он его и писал, то под чью-то диктовку. Кроме Соколова, пришло двое, — двое евреев. Один — впоследствии столь знаменитый Стеклов-Нахамкес, другой — менее знаменитый Суханов-Гиммер, но еще более, может быть, омерзительный...

* * *

Я не помню, с чего началось. Очевидно, их упрекали в том, что они ведут подкоп против комитета Государственной думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдержать анархию. Я не помню, что они отвечали, но явственно почему-то помню свою фразу:

— Одно из двух: или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами. Или уходите и дайте править нам.

И помню ответ Стеклова:

— Мы не собираемся вас арестовывать.

За этих людей взялся Милюков. С упрямством, ему одному свойственным, он требовал от них: написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами.

Милюков убеждал, умолял, заклинал...

* * *

Это продолжалось долго, бесконечно... Это не было уже заседание. Было так... Несколько человек, совершенно изнеможденных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации...

Керенский то входил, то выходил, как всегда, — молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. Но в конце концов, совершенно изнеможденный, и он упал в одно из кресел...

Милюков продолжал торговаться...

* * *

Неподалеку от меня, в таком же рамольном кресле, маленький, худой, заросший, лежал Чхеидзе.

Не помогло и кавказское упрямство. И его сломало...

В это время Милюков с этими тремя вел бесконечный спор насчет «выборного офицерства». В этот спор иногда припутывался Энгельгардт, который, как полковник генерального штаба, считался специалистом военного дела. Милюков доказывал, что выборное офицерство невозможно, что его нет нигде в мире и что армия развалится.

Те трое говорили наоборот, что только та армия хороша, в которой офицеры пользуются доверием солдат. В сущности они говорили совершенно то, что мы твердили в последние полтора года, когда утверждали: то правительство крепко, которое пользуется доверием народа. Но все думали при этом, что гражданское управление — это одно, а военное — другое. Милюкову это было ясно, но Гиммер не понимал...

Не знаю почему, меня потянуло к Чхеидзе. Я подошел и, наклонившись над распростертой маленькой фигуркой, спросил шепотом:

— Неужели вы в самом деле думаете, что выборное офицерство — это хорошо?

Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочал белками и шепотом же ответил со своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность тому, что он сказал:

— И вообще все пропало... Чтобы спасти... чтобы спасти — надо чудо... Может быть, выборное офицерство будет чудо... Может, не будет... Надо пробовать... хуже не будет... будет... Потому что я вам говорю: все пропало...

Я не успел достаточно оценить этот ответ одного из самых видных представителей «революционного народа», который на третий день революции пришел к выводу, что «все пропало», не успел потому, что их светлости Нахамкес и Гиммер милостиво изволили соизволить на написание воззвания, «чтобы не убивали офицеров»...

* * *

Пошли писать. В это время меня вызвали.

В соседней комнате было полным-полно всякого народа. Явственно чувствовалось, как измученная человеческая стихия в качестве последнего оплота бьется в убогие двери «комитета Государственной думы».

Кто-то из членов думы, кажется, Можайский, схватил меня за рукав:

— Вот, ради бога. Поговорите с этими офицерами. Они вас добиваются...

Взволнованная группка в форме.

— Мы из «Армии и Флота»...

— Что там такое?

— Там собрались офицеры... Несколько тысяч... Настроение такое — наше, словом — «за Государственную думу»... Вот мы и составили резолюцию... Хотим посоветоваться... Еще можно изменить...

Я прочел резолюцию. В общем все было более или менее возможно, принимая во внимание сумасшествие момента. Но были вещи, которые, с моей точки зрения, и сейчас нельзя было провозглашать. Было сказано, не помню точно чтó, но в том смысле, что необходимо добиваться Всероссийского Учредительного собрания, избранного «всеобщим, тайным, равным» — словом, по четыреххвостке. Я кратко объяснил, что говорить об Учредительном собрании не нужно, что это еще вовсе не решено.

— А мы думали, что это уже кончено... Если нет, тем лучше, еще бы! черт с ним...

Они обещали Учредительное собрание вычеркнуть и провести это в собрании.

— Мы имеем большинство... Как скажете, — так и будет...

Но они не смогли... Перепрыгнуло ли настроение, или что другое помешало, но, словом, когда я прочел эту резолюцию позже в печатном виде, в ней уже стояло требование Учредительного собрания.

Это надо запомнить. 1 марта вечером, т. е. на третий день революции, самая «реакционная» и самая действенная часть офицерства в столице, ибо таковы были собравшиеся в зале «Армии и Флота», все же находились под таким гипнозом или страхом, что должна была «требовать» Учредительного собрания...

Гиммер, Соколов и Нахамкес написали воззвание. «Заседание» как бы возобновилось. Чхеидзе и Керенский в разных углах комнаты лежали в креслах... Милюков с теми тремя — у столика... Остальные более или менее — в беспорядке...

Началось чтение этого документа...

Он был длинный. Девять десятых его были посвящены тому, — какие мерзавцы офицеры, какие они крепост-

ники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы, прислужники реакции и помещиков. Однако в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует...

Все возмутились... В один голос все сказали, что эта прокламация не поведет к успокоению, а, наоборот, к сильнейшему разжиганию. Гиммер и Нахамкес ответили, что иначе они не могут. Кто-то их нас вспылил, но Милюков вцепился в них мертвой хваткой. Очевидно, и он надеялся на свое, всем известное, упрямство, перед которым ни один кадет еще не устоял. Он взял бумажку в руки и стал пространно говорить о каждой фразе, почему она немыслима. Те так же пространно отвечали, почему они не могут ее изменить...

* * *

Чхеидзе лежал. Керенский иногда вскакивал и убегал куда-то, потом опять появлялся. К нему вечно рвались какие-то темные личности, явно оттуда — из Исполкома. Очевидно, он имел там серьезное влияние... Может быть, шла торговля из-за списка министров.

* * *

Я не помню, сколько часов все это продолжалось. Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову, что сначала пытался делать. Направо от меня лежал Керенский, прибежавший откуда-то, по-видимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно выдохлись.

Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный документ. Против него эти трое сидели неумолимо, утверждая, что они должны квалифицировать социальное значение офицеров, иначе революционная армия их не поймет. Мне ясно запомнились они — около освещенного столика и остальная комната — в полутьме. Этот их турнир был символичен: кадет, уламывающий социалистов. Так, ведь, было несколько месяцев, пока мы, лежащие, не взялись за ум, т. е. за винтовку.

* * *

Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах...

— Я желал бы поговорить с вами...

Это он сказал тем трем. Резко, тем безапелляционно-шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни...

— Только наедине!.. Идите за мною!..

Они пошли... На пороге он обернулся:

— Пусть никто не входит в эту комнату...

Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытать их в «этой комнате».

Через четверть часа дверь «драматически» распахнулась. Керенский бледный, с горящими глазами:

— Представители исполнительного комитета согласны на уступки...

Те тоже были бледны. Или так мне показалось. Керенский снова свалился в кресло, а трое снова стали добычей Милюкова.

На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст: трое, действительно, соглашались...

* * *

Бросились в типографию. Но было уже поздно: революционные наборщики прекратили уже работу. Было два или три часа ночи.

Гиммер, Нахамкес и Соколов ушли. Родзянко опять вызвали на улицу. Пришел какой-то полк, который хотел засвидетельствовать свою верность Государственной думе. На дворе была вьюга, они шли верст сорок пешком. И в три часа ночи пришли поклониться Государственной думе. Родзянко пошел с ними разговаривать, и скоро обычный рев донесся оттуда. Очевидно, «Родина-Матушка» подействовала еще раз, — кричали «ура»...

* * *

В это время приехал Гучков. Он был в очень мрачном состоянии.

— Настроение в полках ужасное... Я не убежден, не происходит ли сейчас убийств офицеров. Я объезжал лично и видел... Надо на что-нибудь решиться... И надо скорее... Каждая минута промедления будет стоить крови... будет хуже, будет хуже...

Он уехал.

* * *

Вернувшись, Родзянко без конца читал нам бесконечные ленты с прямого провода. Это были телеграммы от

Алексеева из ставки и Рузского из Пскова. Алексеев находил необходимым отречение государя императора.

* * *

Эта мысль об отречении государя была у всех, но както об этом мало говорили. Вообще же было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах: качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают.

Мысль об отречении созревала в умах и сердцах както сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим. Но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался комитетом Государственной думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки. Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Весь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась... И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить... Что для нее сделать?..

* * *

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли «офицера»...

* * *

И тут, собственно это и решилось. Нас был в это время неполный состав. Были Родзянко, Милюков и я — остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гуч-

ков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... И идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-то решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... Что дало бы исход... Что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица — уже не повеление: его не исполнят... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук.

Родзянко сказал:

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они объявили мне, что не пустят поезда, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном солдат...

— Я это знаю, — сказал Гучков. — Поэтому действовать надо иначе... Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с «ними», то это непременно будет наименее выгодно для нас. Надо поставить их перед совершившимся фактом... Надо дать России нового государя... Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... Для отпора!.. Для этого надо действовать быстро и решительно...

— То есть — точнее? — Что вы предполагаете сделать?

— Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника...

Родзянко сказал:

— Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем... Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются...

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков. — Если вы согласны и если вы меня уполномочиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь...

Мы переглянулись... Произошла продолжительная пауза, после которой я сказал:

— Я поеду с вами...

Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: комитет Государственной думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и в случае его согласия поручает привезти текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.

* * *

Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с «Чхеидзе»... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.

Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих *лучших* надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были, как никогда. Я знал, что в случае отречения в наши руки *революции как бы не будет*. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная дума, *подчинившаяся указу о роспуске* и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, — передаст эту власть новому правительству.

Юридически революции не будет.

Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гиммеров, Нахамкесов и приказа № 1. Но во всяком случае он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно *повинующиеся нам штыки*, а таковых-то именно и не было...

В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой, чужой, Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А. И. набросал несколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.

2-е марта 1917 г.

Чуть серело, когда мы подъехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня еще спал. На вокзале было пусто.

Мы прошли к начальнику станции. Александр Иванович сказал ему:

— Я — Гучков... Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать в Псков... Прикажите подать нам поезд...

Начальник станции сказал: «слушаюсь», и через двадцать минут поезд был подан.

Это был паровоз и один вагон с салоном и с спальнями. В окна замелькал серый день. Мы, наконец, были одни, вырвавшись из этого ужасного человеческого круговорота, который держал нас в своем липком веществе в течение трех суток. И впервые значение того, что мы делаем, стало передо мной если не во всей своей колоссальной огромности, которую в то время не мог охватить никакой человеческий ум, то и по крайней мере в рамках доступности...

Трон был спасен в 1905 году, потому что часть народа еще понимала своего монарха... Во время той войны, также неудачной, эти, понимающие, столпились вокруг престола и спасли Россию...

Спасли те «поручики», которые командовали «по наступающей толпе — пальба», спасли те, кто зажглись взрывом оскорбленного патриотизма, — взрывом, который вылился в «еврейский погром», спасли те «прапорщики», которые этот погром остановили, спасли те правители и вельможи, которые дали лозунг «не запугаете», спасли те политические деятели, которые, испросив благословение церкви, — громили словом лицемеров и безумцев...

А теперь?

Теперь не нашлось никого...

Никого... потому что мы перестали понимать своего государя...

И вот...

И вот... Псков...

Станции проносились мимо нас... Иногда мы останавливались... Помню, что А. И. Гучков иногда говорил краткие речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перронах стояла толпа, которая все знала... То есть она знала, что мы едем к царю... И с ней надо было говорить...

Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне или еще 28 числа выехал по направлению к Петрограду... Ему было приказано усмирить бунт... Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение... В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два батальона георгиевцев, составлявших личную охрану государя. С ними он дошел до Гатчины... И ждал... В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда... Он ничего не может сделать, потому что явились «агитаторы», и георгиевцы уже разложились... На них нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать...

Но надо было спешить... Мы ограничились этим телеграфным разговором...

* * *

Все же мы ехали очень долго... Мы мало говорили с А. И. Усталость брала свое... Мы ехали, как обреченные... Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершилось не при полном блеске сознания... Так надо было... Мы бросились на этот путь, потому что всюду была глухая стена... Здесь, казалось, просвет... Здесь было «может быть»... А всюду кругом было — «оставь надежду»...

* * *

Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию?

Сколько раз это было...

* * *

В 10 вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через не-

сколько путей стоял освещенный поезд... Мы поняли, что — императорский...

Сейчас же кто-то подошел...

— Государь ждет вас...

И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить?

Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все самое страшное. Не совсем понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая...

Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке...

* * *

С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.

Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенкам... Несколько столов... Старый, худой, высокий, желтовато-седой генерал с аксельбантами...

Это был барон Фредерикс...

— Государь император сейчас выйдет... Его величество в другом вагоне...

Стало еще безотраднее и тяжелее...

В дверях появился государь... Он был в серой черкеске... Я не ожидал его увидеть таким...

Лицо?

Оно было спокойно...

Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно...

— А Николай Владимирович?

Кто-то сказал, что генерал Рузский просил доложить, что он немного опоздает.

— Так мы начнем без него.

Жестом государь пригласил нас сесть... Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я — рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерикс...

Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко... и глухо.

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех

пор... Похудел.., но не в этом было дело... А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновение я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что это была маска, что это не настоящее лицо государя, и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть, иные никогда, ни разу не видели...

Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде. Он немного овладел собой... Он говорил (у него была эта привычка), слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто совести своей говорил.

Он говорил правду. Ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия...

Государь смотрел прямо перед собою, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице:

— Эта длинная речь — лишняя...

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною... В эту же минуту, кажется, я заметил, что в углу комнаты сидит еще один генерал, волосами черный, с белыми погонами... Это был генерал Данилов.

Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что, может быть, единственным выходом из положения было бы отречение от престола.

Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать:

— По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики... Неужели же ваши? Из Государственной думы?

Меня это предположение оскорбило. Я ответил шепотом, но резко:

— Как это вам могло прийти в голову?

Он понял.

— Ну слава богу — простите... Я приказал их задержать.

Гучков продолжал говорить об отречении...

Генерал Рузский прошептал мне:

— Это дело решенное... Вчера был трудный день... Буря была...

— ...И, помолясь Богу... — говорил Гучков...

При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то... Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал:

— Этого можно было бы и не говорить...

* * *

Гучков кончил. Государь ответил. После взволнованных слов А. И. голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой — гвардейский.

— Я принял решение отречься от престола... До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила... Надеюсь, вы поймете чувства отца...

Последнюю фразу он сказал тише...

* * *

К этому мы не были готовы. Кажется, А. И. пробовал представить некоторые возражения... Кажется, я просил четверть часа — посоветоваться с Гучковым... Но это почему-то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же... Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую...

Во-первых, как мы могли «не согласиться»?.. Мы приехали сказать царю мнение комитета Государственной думы... Это мнение совпало с решением его собственным... А если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили... Ибо мы ведь не вступили на путь «тайного насилия», которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX...

Решение царя совпало в главном... Но разошлось в частностях... Алексей или Михаил перед основным фактом — отречением — все же была частность... Допустим, на эту частность мы бы «не согласились»... Каков результат? Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал престол «вопреки желанию Государственной думы». И положение нового государя было бы подорвано.

Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде

становился наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Если придется отрекаться и следующему, — то ведь Михаил *может* отречься от престола...

Но малолетний наследник не может отречься — его отречение недействительно.

И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам?

Наверное, и в Царское Село летят — проклятые...

И сделались у меня —

«Мальчики кровавые в глазах»...

* * *

А кроме того...

Если что может еще утишить волны — это, если новый государь воцарится, присягнув конституции...

Михаил может присягнуть.

Малолетний Алексей — нет...

* * *

А кроме того...

Если здесь есть юридическая неправильность... Если государь не может отрекаться в пользу брата... Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время... Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу...

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий...

* * *

И мы «согласились»...

* * *

Государь встал... Все поднялись...

Гучков передал государю «набросок». Государь взял его и вышел.

* * *

Когда государь вышел — генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.

— Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений, ввиду того, что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?

Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мной, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.

— Отречение в пользу Михаил Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо, если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос, останутся ли родители при нем или придется разлучиться. В первом случае, т. е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным... В особенности это касается императрицы... Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже... При том отношении, как сейчас к ней, — это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать... При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро...

* * *

Барон Фредерикс был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности...

* * *

Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

— Вот текст...

Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Я стал пробегать его глазами, и волнение, боль и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают...

* * *

Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес и его и положил его на стол.

* * *

К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердца его подданных, вырвалась этим лоскутком бумаги. Так благодарны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше, любит Россию...

* * *

Почувствовал ли государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее...

* * *

Но надо было делать дело до конца... Был один пункт, который меня тревожил... Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца объявит «конституционный образ правления», ему легче будет удержаться на троне... Я сказал это государю... И просил его в том месте, где сказано «...с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены...», приписать: «принеся в том всенародную присягу».

Государь сейчас же согласился.

— Вы думаете, это нужно?

И, присев к столу, приписал карандашом:

«Принеся в том ненарушимую присягу»... Он написал не «всенародную», а «ненарушимую», что, конечно, было стилистически гораздо правильнее.

Это единственное изменение, которое было внесено...

Затем я просил государя.

— Ваше величество... Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение...

Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог говорить, что манифест «вырван»... Я видел, что государь меня понял, и, по-видимому, это совершенно совпало и с

его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал «2-го марта, 15 часов», т. е. 3 часа дня... Часы показали в это время начало двенадцатого ночи...

Потом мы, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе совета министров.

Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас, или же нам было сказано, что это уже сделано...

Но я ясно помню, как государь написал при нас указ правительствующему сенату о назначении председателя совета министров...

Это государь написал у другого столика и спросил:

— Кого вы думаете?..

Мы сказали: — Князя Львова...

Государь сказал, как-то особой интонацией, — я не могу этого передать:

— Ах, — Львов? Хорошо — Львова...

Он написал и подписал...

Время по моей же просьбе было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т. е. 13 часов.

* * *

Когда государь так легко согласился на назначение Львова, — я думал: «Господи, господи, ну не все ли равно — вот теперь пришлось это сделать — назначить этого человека «общественного доверия», когда все пропало... Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше... Может быть, этого тогда бы и не было»...

* * *

Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там, ближе к выходу... Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать... И у меня вырвалось:

— Ах, ваше величество... Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва думы, может быть, всего этого...

Я не договорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете — обошлось бы?

* * *

Обошлось бы? Теперь я этого не думаю... Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, т. е. после нашего великого отступления, — может быть, и обошлось бы...

* * *

Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил:

— Разрешите узнать, ваше величество, ваши личные планы? Ваше величество поедете в Царское?

Государь ответил:

— Нет... Я хочу сначала проехать в ставку... проститься... А потом, хотел бы повидать матушку... Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне... А потом — в Царское...

* * *

Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас. Он подал нам руку с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил...

* * *

Мы вышли из вагона. На путях, освещенных голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали... Когда мы вышли, нас окружили, и эти люди наперебой старались пробиться к нам и спрашивали: «Что? Кто?» Меня поразило то, что они были такие тихие, шепчущие... Они говорили как будто в комнате тяжелобольного, умирающего...

Им надо было дать ответ. Ответ дал Гучков. Очень волнуясь, он сказал:

— Русские люди... Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь Богу... Государь император ради спасения России снял с себя... свое царское служение... Царь подписал отречение от престола. Россия вступает на новый путь... Будем просить Бога, чтобы он был милостив к нам...

Толпа снимала шапки и крестилась... И было страшно тихо...

Мы пошли в вагон генерала Рузского. По путям — сквозь эту расступавшуюся толпу.

Когда мы пришли к генералу Рузскому, через некоторое время, кажется, был подан ужин. Но с этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились, и сделалась такая жестокая мигрень, что все было, как в тумане. Я не помню поэтому, что происходило за этим ужином, но, очевидно, генерал Рузский рассказывал, как произошли события.

Вот то, вкратце, что произошло до нашего приезда:

28 февраля был отдан приказ двум бригадам, одной — снятой с северного фронта, другой — с западного, двинуться на усмирение Петрограда. Генералу-адъютанту Иванову было приказано принять командование над этими частями. Он должен был оставаться в окрестностях Петрограда, но не предпринимать решительных действий до особого распоряжения. Для непосредственного окружения ему были даны два батальона георгиевских кавалеров, составлявших личную охрану государя в ставке. С северного фронта двинулись два полка 38-й пехотной дивизии, которые считались лучшими на фронте. Но где-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались идти на Петроград. Бригада, взятая с западного фронта, тоже не дошла. Наконец, и два батальона георгиевцев тоже вышли из повиновения.

Первого марта генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали главнокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя императора от престола в пользу сына. К часу дня второго марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Рузского. Ответы эти были:

1) От великого князя Николая Николаевича — главнокомандующего Кавказским фронтом.

2) От генерала Сахарова — фактического главнокомандующего Румынским фронтом (собственно, главнокомандующим был король Румынии, Сахаров был его начальником штаба).

3) От генерала Брусилова — главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

4) От генерала Эверта — главнокомандующего Западным фронтом.

5) От самого Рузского — главнокомандующего Северным фронтом.

Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев (генерал Алексеев был начальником штаба при государе) высказались за отречение государя императора от престола.

В час дня второго марта генерал Рузский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Даниловым и Савичем — генерал-квартирмейстером, был принят государем. Государь принял их в том же самом вагоне, в котором через несколько часов было отречение.

Генерал Рузский доложил государю мнение генерала Алексеева и главнокомандующих фронтами, в том числе свое собственное. Кроме того, генерал Рузский просил еще выслушать генералов Данилова и Савича. Государь приказал Данилову говорить.

Генерал Данилов сказал приблизительно следующее:

— Положение очень трудное... Думаю, что главнокомандующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что если благоугодно будет разделить наше мнение, ваше величество принесете и эту жертву родине...

Савич кратко сказал, что он присоединяется к мнению генерала Данилова.

На это государь ответил очень взволнованно и очень прочувствованно, в том смысле, что нет такой жертвы, которой он не принес бы для России.

* * *

После этого была составлена краткая телеграмма, извещавшая генерала Алексеева о том, что государь принял решение отречься от престола. Генерал Рузский взял телеграмму и удалился, но несколько медлил с отправкой ее, так как он знал, что Гучков и Шульгин утром выехали из Петрограда: он хотел посоветоваться с ними особенно по вопросу о том, кто станет во главе правительства. Генерал Рузский не доверял Львову и предпочитал Родзянко.

Гучкова и Шульгина ожидали с часу на час.

Но уже в три часа дня от государя пришел кто-то с приказанием вернуть телеграмму. Тогда же генерал Рузский узнал, что государь передумал в том смысле, что отречение должно быть не в пользу Алексея Николаевича, а в пользу Михаила Александровича. После повторного приказания вернуть телеграмму, телеграмма была

возвращена и таким образом послана не была. День прошел в ожидании Гучкова и Шульгина.

* * *

Все это, должно быть, тогда же рассказал нам генерал Рузский. Во всяком случае, события этого дня можно считать точно установленными в таком виде, как я их изложил. Позднее это подтвердил мне генерал Данилов, который был лично свидетелем вышеизложенного.

* * *

Около часу ночи, а может быть, двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе временного правительства — князю Львову.

Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же...

Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде.

* * *

3-е марта 1917 года

Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и куда-то нас тащили... И из этой кутерьмы вышло такое решение, что Гучкова куда-то потянули, я уже хорошенько не знаю, куда. А мне выпало на долю объявить о происшедшем «войскам и народу». Какие-то люди суетились вокруг меня, торопили и говорили, что войска уже ждут — выстроены в вестибюле вокзала.

Сопровождаемый этой волнующейся группой, я пошел с ними. Они привели меня в то помещение, где продаются билеты, — словом, во входной зал.

Здесь, действительно, стоял полк или большой батальон, выстроившись на три стороны — «покоем». Четвертую сторону составляла толпа.

Я вошел в это каре, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо...

* * *

Стало так тихо, как, кажется, никогда еще... У меня очень слабый голос... Но я чувствовал, как каждое слово летит над строем и дальше в толпу, и слышно им было все ясно.

Я читал им «отречение»...

* * *

Слова падали... И сами по себе они были, — как это сказать? — вековым волнением волнующие... А тут — в этой обстановке... перед строем, замершим в торжественном жесте, перед этой толпой, испуганной, благоговейно затихшей, они звучали неповторяемо... И я чувствовал, что слова падают, падают во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем...

* * *

«Да поможет Господь Бог России».

* * *

Я поднял глаза от бумаги. И увидел, как дрогнули штыки, как будто ветер дохнул по колосьям... Прямо против меня молодой солдат плакал. Слезы двумя струйками бежали по румяным щекам...

Тогда я стал говорить... Хорошо ли, плохо — не знаю... Это кто-то другой говорил — кто больше, сильней, горячее меня...

— Вы слышали слова государя... Последние слова... императора Николая II. Он подал нам всем... пример... нам всем — русским... как нужно... уметь забывать... себя для России... Сумеем ли мы так поступить? Мы... люди разные... разных званий, состояний... занятий... офицеры и солдаты!.. дворяне и крестьяне!.. Инженеры и рабочие!.. Богатые и бедные!.. Сумеем ли мы все забыть для того, что у нас у всех есть единое... общее? А что у нас — общее?.. Вы все это знаете... Это общее — родина... Россия... Ее надо спасать... О ней думать. Идет война... Враг стоит на фронте... Враг неумолимый... который раздавит нас!.. раздавит, если не будем все вместе... Если не будем едины... Как быть едиными? Только один путь...

Всем собраться вокруг... нового царя!.. Всем оказать ему повиновение!.. Он поведет нас!.. государю императору... Михаилу... второму!.. провозглашаю... «ура»!!!

* * *

И оно взмыло — горячее, искреннее, растроганное...

Под эти крики я пошел прямо перед собой, прошел через строй, который распался, и через толпу, которая расступилась, пошел, сам не зная — куда...

* * *

И показалось мне на одно короткое мгновение, что монархия спасена...

* * *

Я очнулся в каком-то коридоре вокзала... Кто-то из железнодорожных служащих твердил мне что-то, и, наконец, я понял, что Милюков уже много раз добивается меня по телефону...

* * *

Я услышал голос, который я с трудом узнал, до такой степени он был хриплый и надорванный...

— Да, это я — Милюков... Не объявляйте манифеста... Произошли серьезные изменения...

— Но как же? Я уже объявил...

— Кому?

— Да всем, кто здесь есть... какому-то полку, народу! Я провозгласил императором Михаила...

— Этого не надо было делать... Настроение сильно ухудшилось с того времени, как вы уехали... Нам передали текст... Этот текст совершенно не удовлетворяет... совершенно необходимо упоминание об Учредительном собрании... Не делайте никаких дальнейших шагов... могут быть большие несчастия...

— Единственное, что я могу сделать, — это отыскать Гучкова и предупредить его... Он тоже где-то, очевидно, объявляет...

— Да, да... Найдите его и немедленно приезжайте оба на Миллионную, 12. В квартиру князя Путятина...

— Зачем?

— Там великий князь Михаил Александрович... и все мы едем туда... пожалуйста, поспешите...

* * *

Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружали:

— Где Гучков?

— Александр Иванович в железнодорожных мастерских на митинге рабочих! — ответили голоса.

На митинге рабочих... Значит, мне надо сейчас пробраться к нему и вытащить его оттуда... Но как же быть с текстом отречения... Вот я его чувствую под рукой в боковом кармане... И с таким документом на «митинг» к рабочим?.. Войти-то войдешь, — но выйдешь ли?.. Могут отнять, уничтожить... И бог его знает, что еще может быть...

Как быть? Вокруг меня, ни на секунду не оставляя, была толпа людей, следившая за каждым моим движением... Но ни одного — не то что верного, — но просто знакомого лица... Кому передать документ? В это время меня опять позвали к телефону...

— Это я — Бубликов... Я, знаете, на всякий случай послал вам человека... один инженер... совершенно верный... он найдет вас на вокзале... скажет, что от меня... Можете ему все доверить... Понимаете?

— Понимаю.

* * *

Через несколько минут из толпы, меня окружавшей, какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова... Я сказал ему:

— Вас никто не знает... За вами не будут следить... Идите пешком, совершенно спокойно... и донесите... Понимаете?

— Понимаю...

Я незаметно передал ему конверт. Он исчез...

Теперь я мог идти на митинг...

* * *

Я насилу втиснулся...

Это была огромная мастерская с железно-стеклянным потолком... Густая толпа рабочих стояла стеной, а там, вдали, в глубине был высокий эшафот, то есть не эшафот, а помост, на котором стоял Гучков и еще какие-то люди...

Я стал пробираться сквозь толпу, заявляя, что у меня «срочное поручение». С трудом я пробился к подножию

«эшафота». На помост вела приставная лестница... Я вскарабкался по этой лестнице после целого ряда ссор и объяснений, что у меня «срочное поручение». Когда я вскарабкался, председатель этого собрания, рабочий, который стоял рядом с Гучковым, говорил речь, такого содержания:

— Вот, к примеру, они образовали правительство... кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, кто свободу себе добыл? Как бы не так!.. Вот читайте... князь Львов... Князь...

По толпе прошел ропот... Председатель продолжал:

— Ну, да... Князь Львов... Князь... так вот, для чего мы, товарищи, революцию делали!.. От этих самых князей и графов все и терпели... Вот освободились — и на тебе!.. Князь Львов...

Толпа забурлила... Он продолжал:

— Дальше... Например, товарищи, кто у нас будет министром финансов?.. Как бы вы думали?.. Может быть, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал... как бедному народу живется... и что такое есть — финансы?.. так вот что я вам скажу... Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко... Кто такой господин Терещенко? Я вам скажу, товарищи... Сахарных заводов? Штук десять!.. Земля? — десятин тысяч сто!.. Да деньжонками — миллионов тридцать наберется...

Толпа заволновалась...

Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передал ему свой разговор с Милюкоым.

— Нам надо уходить отсюда...

— Да, но это не так просто... Они меня пригласили, — я должен им сказать...

— Я попробую добиться от этого председателя, чтобы он дал мне слово не в очередь и заявлю, что у нас очень срочное дело...

В это время председатель уже закончил свою речь под оглушительные рукоплескания... И передал слово кому-то другому, такому же, как и он...

Я пристал к нему, объясняя, что мне надо. Он нетерпеливо от меня отбояривался и твердил — «подождите».

В это время другой оратор распространялся:

— Я тоже скажу, товарищи!.. Вот они поехали... Привезли! Кто их знает, что они привезли... Может быть, такое, что совсем для революционной демократии — непод-

ходящее... Кто их просил?.. От кого поехали? От народа? От совета солдатских и рабочих депутатов? Нет... От Государственной думы!.. А кто такие — Государственная дума? Помещики!.. Я бы так советовал, товарищи, что и не следовало бы, может быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпускать... Вот бы вы там, товарищи, двери и поприкрыли бы!..

Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать:

— Закрыть двери!..

Двери закрылись... Это становилось совсем неприятным.

В это время председатель сказал тихонько Гучкову, стоявшему с ним рядом:

— Александр Иванович... А вы очень... оскорбились... если мы документик-то у вас — того...

Гучков ответил:

— Очень оскорблюсь и этого не позволю... А вы вот дайте мне слово...

А я подумал: «Опоздали, голубчики... Документик-то — «того»! Отослан куда надо»...

В это время неожиданно нам протянули руку помощи. Какой-то человек, по виду рабочий, но с интеллигентным лицом, должно быть, инженер, стал говорить:

— Вот вы кричите «закрыть двери», товарищи... А я вам скажу — неправильно вы поступаете... Потому что вот смотрите, как с ними — вот с Александром Ивановичем — старый режим поступил... Они как к нему поехали? Со штыками? Нет... Вот, как стоят теперь перед вами, — так и поехали — в пиджачках-с!.. И старый режим их уважил... Что с ним мог сделать старый режим? Арестовать! Расстрелять!.. Ведь — одни приехали. В самую пасть... Но старый режим, обращаю внимание... как приехали! — ничего им не сделал — отпустил... И вот они — здесь... Мы же сами их пригласили... Они доверились — пришли к нам... А за это, за то, что они нам поверили... и пришли так, как к старому режиму вчера ездили, за это вы — что? «Двери на запор»... Угрожаете?.. Так я вам скажу, товарищи, что вы хуже старого режима!..

* * *

Ах — толпа... В особенности — русская толпа... Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену...

* * *

Слова инженера родили обратную волну. Закричали там и здесь:

— Верно. Верно говорит! Что там... Открыть двери!..

Но двери некоторое время сопротивлялись.

Тогда взвыли сотни голосов — уже грозных:

— Открыть двери!!!

Двери открылись.

Стал говорить Гучков. Я не помню что — какие-то успокаивающие слова. Во время его речи мне удалось добиться от председателя обещания дать мне слово вне очереди. Он, наконец, понял, почему это нужно, и, когда Гучков кончил, дал мне слово. Я сказал им:

— Вот мы тут рассуждаем о том, о другом: хорош ли князь Львов и сколько миллионов у Терещенко. Может быть — рано? Я прислан сюда со срочным поручением: сейчас в Государственной думе между комитетом думы и советом рабочих депутатов идет важнейшее совещание. На этом совещании все решится. Может быть, так решится, что всем понравится. Так, может быть, и это все, что здесь говорится — зря говорится... Во всяком случае нам с Александром Ивановичем надо немедленно ехать!

— Ну и езжайте... Кто вас держит?

Как раз было время. Мы слезли с Гучковым с эшафота по приставной лестнице и стали пробиваться к выходу. Толпа расступалась — скорее дружелюбно, как бы заглаживая, что хотели «закрыть двери».

Мы вышли на залитый солнцем и морозом день. Когда мы прошли несколько шагов, к нам бросилось несколько офицеров:

— Ну, слава Богу...

Они были мне незнакомы. Но один из них прошептал мне на ухо:

— Нам сказали, что вас арестовали там в мастерских... Так вот мы приготовились...

Он показал рукой. На некотором расстоянии, обращенный лицом к дверям мастерских, притаился приземистый зеленый толстоватый бесхвостый ящер на колесиках, — то есть пулемет...

* * *

Эти офицеры, должно быть, были саперы. Это потому я так думаю, что Гучкова сейчас же окружили и проси-

ли зайти «на минутку» в саперные казармы, которые «тут же». А. И. пошел.

Он быстро вернулся. В это время откуда-то появился приземистый человек — весь в коже, но не черной, а желтой, как будто бы интеллигентный рабочий. У него висел револьвер на поясе. Кто он был, я не знаю, но, словом, он объявил, что автомобиль подан. Мы пошли, неизменно сопровождаемые откуда-то берущейся толпой. Пошли через вокзал на площадь... На площади перед вокзалом была масса народу... У ступеней перрона стоял автомобиль под огромным красным флагом. Из окон торчали штыки. Кроме того, два солдата лежали на двух крыльях автомобиля на животе, штыками вперед.

Мы полезли в автомобиль. Человек в желтой коже тоже втиснулся. Он сел против меня, вынул револьвер и сказал шоферу, чтобы ехал. Машина взяла ход, тогда он спросил:

— Куда ехать?

Я ответил:

— На Миллионную, 12...

Он сказал шоферу и прибавил как бы в объяснение:

— Чтобы там не слышали... куда едем...

Я понял, что он наш... Я его больше никогда не видел. Он чего-то боялся. По-видимому, боялся, не преследует ли нас какая-нибудь машина.

* * *

Мы неслись бешено. День был морозный, солнечный... Город был совсем странный — сумасшедший, хотя и тихим помешательством... пока.

Трамваи стали; экипажей, извозчиков не было совсем... Изредка неистово проносились грузовики с ощетиненными штыками. Куда? Зачем? С одним из них мы имели «объяснение»... Он отстал после ругани нашего «желтокожего».

Все магазины закрыты... Но самое странное то, что никто не ходит по тротуарам. Все почему-то выбрались на мостовую. И ходят толпами. Главным образом — толпы солдат. С винтовками за плечами, не в строю, без офицеров — ходят толпами без смысла... На улицах не то радостное, не то растерянное недоумение... Чего они хотят? Ничего... Они сами не знают... Празднуют «свободу»... И «что, значит, на фронт уже, товарищи, не пойдем»... Вот это в их глазах твердо написано.

И вот это — ужас... Стотысячный гарнизон — на ули-

цах. Без офицеров! Толпами!.. Значит — конец... Значит, дисциплина окончательно потеряна... Армии нет... Опереться не на что.

* * *

Машина резала эту бессмысленную толпу... Для чего-то мы крутили по каким-то улицам... Это, должно быть, знал «желтокожий». Два «архангела» лежали на брюхах на крыльях автомобиля, и их выдвинутые вперед штыки пронзили воздух... Мне все казалось, что они кому-то выколют глаз. На одном углу я заметил единственный открытый магазин: продавали... цветы!.. Как глупо...

* * *

Вот Миллионная... Вот знакомый дом с колонками... И тут бродит какая-то солдатня. Автомобиль останавливается где-то, не доезжая... Не хотят «обращать внимание».

Мы идем несколько шагов пешком. Вот двенадцатый номер. Вошли. Внутри — два часовых... Значит, есть какая-то охрана.

Поднялись... Квартира Путятина... В передней — ходынка платья. И несколько шепчущихся. Спрашиваю:

— Кто здесь?

— Здесь... Все члены правительства...

— Когда образовалось правительство?

— Вчера...

— Еще кто?

— Все члены комитета Государственной думы... Идите — ждали вас...

— Великий князь здесь?

— Да...

Посредине между ними в большом кресле сидел офицер — моложавый, с длинным худым лицом... Это был великий князь Михаил Александрович, которого я никогда раньше не видел. Вправо и влево от него на диванах и креслах — полукругом, как два крыла только что провозглашенного мною монарха, были все, кто должны были быть его окружением: вправо — Родзянко, Милюков и другие, влево — князь Львов, Керенский, Некрасов и др. Эти другие были: Ефремов, Ржевский, Бубликов, Шидловский, Владимир Львов, Терещенко, кто еще, не помню.

Гучков и я сидели напротив, потому что пришли последними...

* * *

Это было вроде как заседание... Великий князь как бы давал слово, обращаясь то к тому, то к другому:

— Вы, кажется, хотели сказать?

Тот, к кому он обращался, — говорил.

* * *

Говорили о том: следует ли великому князю принять престол или нет.

Я не помню всех речей. Но я помню, что только двое высказались за принятие престола. Эти двое были: Милюков и Гучков.

* * *

Направо от великого князя стоял диван, на котором ближе к великому князю сидел Родзянко, а за ним Милюков.

Пять суток нечеловеческого напряжения сказались... Ведь и Наполеон выдерживал только четыре... И железный Милюков, прячась за огромным Родзянко, засыпал, сидя... Вздрагивал, открывал глаза и опять засыпал...

— Вы, кажется, хотели сказать?

Это великий князь к нему обратился.

Милюков встрепенулся и стал говорить.

Эта речь его, если можно назвать речью, была потрясающая...

Головой — белый как лунь, сизый — лицом (от бессонницы), совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он не говорил, он каркал хрипло...

— Если вы откажетесь... ваше высочество.. будет гибель!.. Потому что Россия... Россия потеряет... свою ось... Монарх — это ось... Единственная ось страны!.. Масса, русская масса... вокруг чего... вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь... будет анархия!.. хаос... кровавое месиво! Монарх — это единственный центр... Единственное, что все знают... Единственное — общее... Единственное понятие о власти!.. пока в России... Если вы откажетесь... будет ужас!.. полная неизвестность... ужасная неизвестность... потому что... не будет... не будет присяги!.. а присяга — это ответ... единственный ответ... единственный ответ, который может дать народ... нам всем... на то, что случилось... это его — санкция... его одобрение... его согласие, без которого... нельзя... ничего... без которого не будет... государства... России!.. ничего не будет...

* * *

Белый, как лунь, он каркал, как ворон... Он каркал мудрые, вещие слова... самые большие слова его жизни...

И все же...

И все же он оставался тем, чем он был... Милюковым...

* * *

Великий князь слушал его, чуть наклонив голову... Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был олицетворением хрупкости...

Этому человеку говорил Милюков свои вещие слова. Ему он предлагал совершить:

«подвиг силы беспримерной»...

Что значил совет принять престол в эту минуту?

Я только что прорезал Петербург. Стотысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров шлялись по улицам беспорядочными толпами...

А за этой штыковой стихией — кто?

«Совет рабочих депутатов» и германский штаб — злейшие враги: социалисты и немцы.

* * *

Совет принять престол обозначал в эту минуту:

— На коня! На площадь!

Принять престол сейчас — значило: во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами.

Терещенко делал мне какие-то знаки. Я понял, что он просит меня выскользнуть в соседнюю комнату на минуту.

Я сделал это.

— Что такое?

— В. В... Я больше не могу... Я застрелюсь... Что делать, что делать!..

* * *

Да, — что делать?.. С ума было можно сойти.

* * *

— Бросьте... Успеете... Скажите, есть ли какие-нибудь части?.. на которые можно положиться?..

— Нет... ни одной...

— А вот внизу я видел часовых...

— Это — несколько человек... Керенский дрожит... Он боится... каждую минуту могут сюда ворваться... Он боится, чтобы не убили великого князя... Какие-то банды бродяг... Боже мой!..

* * *

Мы вернулись...

Керенский говорил:

— Ваше высочество... Мои убеждения — республиканские. Я против монархии!.. Но я сейчас не хочу, не буду... Разрешите вам сказать совсем иначе... Разрешите вам сказать... как русский — русскому! Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете России!.. Наоборот... Я знаю настроение массы!.. рабочих и солдат... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии... Именно этот вопрос будет причиной кровавго развала!.. И это в то время... когда России нужно полное единство... Перед лицом внешнего врага... начнется гражданская, внутренняя война!.. И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству... как русский — к русскому!.. Умоляю вас во имя России принести эту жертву!.. Если эта жертва... Потому что, с другой стороны... я не вправе скрыть здесь, каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол... Во всяком случае... я не ручаюсь за жизнь вашего высочества!..

Он сделал трагический жест и резко отодвинул свое кресло.

За принятие престола говорил еще Гучков.

* * *

Я, кажется, говорил последним. Я сказал:

— Обращаю внимание вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей опорой в случае принятия престола, то есть почти все члены нового правительства, этой опоры вам не оказали... Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня нехватает мужества при этих условиях советовать вашему высочеству принять престол...

Великий князь встал... Тут стало еще виднее — какой он высокий, тонкий и хрупкий... Все поднялись.

— Я хочу подумать полчаса...

Подскочил Керенский.

— Ваше величество... Мы просим вас... чтобы вы приняли решение наедине с вашей совестью... не выслушивая кого-либо из нас... отдельно...

Великий князь кивнул ему головой и вышел в соседнюю комнату...

* * *

Образовались группы. Я был у окна. Подошел Милюков и что-то стал мне говорить.

Вдруг Керенский с трагическим жестом схватил меня за руку.

— Я не позволю!.. мы условились!.. Никаких сепаратных разговоров! Все сообща!

Глаза у него сверкали. Лицо — повелительное...

Я немного рассердился.

— Александр Федорович! Нельзя ли... другим тоном...

Он вдруг деформировался совершенно... Лицо его стало ласковое, умоляющее...

— Ну, дорогой мой, ну, золотой, ну, серебряный, — ну не расстраивайте, не расстраивайте же!

И побежал к другим...

Он был должно быть, «не в себе»... Мы пожали плечами и продолжали разговор.

* * *

Великий князь позвал к себе Родзянко. Против этого почему-то Керенский не протестовал. Родзянко пошел.

Кто-то подошел ко мне и сказал:

— Не грустите... существует легенда: будет царствовать Михаил и при нем буд...

* * *

Великий князь вышел... Это было около двенадцати часов дня... Мы поняли, что настала минута.

Он дошел до середины комнаты.

Мы столпились вокруг него.

Он сказал:

— При этих условиях я не могу принять престола, потому что...

Он не договорил, потому что... потому что заплакал...

* * *

Керенский рванулся:

— Ваше императорское высочество... Я принадлежу к партии, которая запрещает мне... соприкосновение с лицами императорской крови... Но я берусь.. и буду это утверждать... перед всеми!.. да, перед всеми!.. что я...

глубоко уважаю... великого князя Михаила Александровича!..

Он сорвался и, наскоро одевшись, умчался... Кто-то объяснил мне, что он все время дрожал, что ворвутся... что напряжение очень сильно.

* * *

Великий князь ушел к себе. Стали говорить о том, как написать отречение.

* * *

Некрасов показал мне набросок, им составленный. Он был очень плох. Кажется, поручили Некрасову, Керенскому и мне его улучшить. Милюков объяснил мне, что накануне комитет Государственной думы признал необходимым под давлением слева в той или иной форме упомянуть об Учредительном собрании.

* * *

Княгиня Путятина попросила всех завтракать.

Узкую часть стола занимала сама хозяйка. По правую ее руку — великий князь. По левую посадили меня. Рядом с великим князем был, кажется, князь Львов. Рядом со мной, кажется, Некрасов или Терещенко. Напротив княгини — Керенский. Остальных — не помню.

За завтраком великий князь спросил меня:

— Как держал себя мой брат?

Я ответил:

— Его величество был совершенно спокоен... Удивительно спокоен...

Затем я рассказал все, как было...

* * *

После завтрака мы, то есть те, кто должен был редактировать акт, перешли в другую комнату. Это была детская. Стояли кроватки, игрушки и маленькие парты...

На этих школьных партах и писалось...

Скоро вызвали Набокова и Нольде.

Они, собственно, и обрабатывали более или менее записку Некрасова.

Потому что Некрасов и Керенский то уходили, то приходили.

Керенский все торопил, утверждая, что положение очень трудное.

Однако он же и затевал споры.

Особенно долго спорили о том, кто поставил Временное правительство: Государственная ли дума, или «воля народа». Керенский потребовал от имени совета рабочих и солдатских депутатов, чтобы была включена «воля народа». Ему указывали, что это неверно, потому что правительство образовалось по почину комитета Государственной думы.

Я при удобном случае заявил, что князь Львов назначен государем императором Николаем II приказом правительствующему сенату, помеченным двумя часами раньше отречения. Мне объяснили, что они это знают, но что это надо тщательнейшим образом скрывать, чтобы не подорвать положение князя Львова, которого левые и так еле-еле выносят.

Наконец, помирились на том, чтобы было «волею народа по почину Государственной думы», но в окончательном тексте «воля народа» куда-то исчезла. Как это случилось, не помню.

* * *

Наконец, составили и передали великому князю. В это время в детской оставались Набоков, Нольде и я. Через некоторое время секретарь великого князя, не помню его фамилии, высокий, плотный блондин, молодой, в зем-гусарской форме, принес текст обратно. Он передал, что великий князь всюду просит употреблять от его лица местоимение «я», а не «мы» (у нас всюду было — «мы»), потому что великий князь считает, что он престола не принял, императором не был, а потому не должен говорить — «мы». Во-вторых, по этой же причине, вместо слова «повелеваем», как мы написали, — употребить слово «прошу». И, наконец, великий князь обратил внимание на то, что нигде в тексте нет слова «Бог», а такие акты без упоминания имени божия не бывают.

Все эти указания были выполнены, и текст переделан. Снова передали великому князю, и на этот раз он его одобрил.

Набоков сел на детскую парту переписывать набело.

* * *

За это время все разъехались. Великий князь несколько раз говорил со мной. Говорил, так сказать, попросту. Хотя он не знал меня раньше, но, видимо, инстинктивно чувствовал, что мне династия дорога не только разумом, но и чувством. Великий князь, кроме того,

внушал мне личную симпатию. Он был хрупкий, нежный, рожденный не для таких ужасных минут, но он был искренний и человечный. На нем совсем не было маски. И мне думалось:

— Каким хорошим конституционным монархом он был бы...

Увы... Там, в соседней комнате, писали отречение династии.

* * *

Великий князь так и понимал. Он сказал мне:

— Мне очень тяжело... Меня мучает, что я не мог посоветоваться со своими. Ведь брат отрекся за себя... А я, выходит так, отрекаюсь за всех...

Это было часов около четырех дня — у окна, в той комнате, где много ковров и мягких кресел...

* * *

К сожалению, от меня совершенно ускользает самая минута подписания отречения... Я не помню, как это было. Помню только почему-то, что Набоков взял себе на память перо, которым подписал Михаил Александрович. И помню, что появившийся к этому времени Керенский умчался стремглав в типографию. (Кто-то еще раз сказал, что могут каждую минуту «ворваться».)

Через полчаса по всему городу клеили плакаты:

«Николай отрекся в пользу Михаила, Михаил отрекся в пользу народа».

Я вспоминаю опять все ясно с той минуты, когда я шел домой через Троицкий мост.

Я пять суток не был дома.

За это время...

* * *

За это время я присутствовал при отречении двух государей... Когда пять дней тому назад я шел через этот же мост — Россия была империей... Теперь что она?

* * *

И не республика, и не монархия... Государственное образование без названия...

Впрочем...

* * *

Впрочем, разве уже не одиннадцать с лишним лет мы «без названия»?

* * *

«Конституционная империя под самодержавным царем».

Так называл Россию международный альманах Гота с 1906 года.

«Мнимый конституционализм», — говорили немцы...

«Никакой закон не может восприять силы без одобрения Государственой думы», — говорили основные законы.

«Самодержавие мое остается при мне, как и встарь», — говорил создавший этот строй государь.

* * *

Последний государь...

Вот она — «русская конституция»... Началась еврейским погромом и кончилась разгромом династии.

Я оперся на парапет. Закат вычертил за Петропавловкой кровавые плакаты... И я вспомнил...

Я вспомнил, как в 1905 году, после манифеста 17 октября, за то, что не было в нем равноправия, «жиды» сбросили царскую корону.

И как жалобно зазвенел трехсотлетний металл, ударившись о грязную мостовую.

И как десятки, сотни, миллионы русских вдруг почувствовали смертельную обиду и страх, бросились, подняли царскую корону и коленопреклоненно вернули ее царю:

> «Царствуй на страх врагам...
> Царствуй на славу нам»...

И царь царствовал...

Увы...

Прошло одиннадцать лет...

И вот, уже не «жидовскими происками» стала вновь падать корона.

Государственная дума бросилась подхватить ее из ослабевших рук императора Николая...

И поднесла Михаилу...

Но Михаил не мог принять ее из рук Государственной думы... Ибо и дума была уже — ничто...

И корона покатилась...

Жалобно звенит она о гранит мостовых.

Но на этот раз никого не будит этот звон.

Народ не бежит, взволнованный и ужасный, как тогда...

«И казаки на зов Палея
Не налетят со всех сторон»...

И пройдут месяцы, может быть, годы, вернее — долгие годы...

Пока...

Пока зазвучит набат.

Какой это будет год?

Петропавловский собор резал небо острой иглой. Зарево было кроваво...

«Да поможет Господь Бог России»...

* * *

Н. П. Карабчевский

Что глаза мои видели

Окунувшись снова в сутолоку повседневной адвокатской жизни, сталкиваясь с множеством людей, поглощенных исключительно своими личными, не всегда почтенными интересами, улавливая нетерпеливое настроение тыла, жаждущего как можно скорее отделаться от повседневных неудобств, сопряженных с продолжением войны, чуя, наконец, что под шумок всюду ведется настойчивая революционная пропаганда по трафарету 1905—1906 годов, и сознавая, что на этот раз ее результаты могут быть гораздо острее, я переживал мучительные часы ночной бессонницы.

Оторванный в течение дня неотложной текущей работой, казавшейся мне теперь пустой и ненужной, мой мозг начинал обыкновенно тревожно работать ночью, когда, лежа в постели, я тщетно силился уснуть.

Прямой уверенности в том, что не пройдет и двух месяцев, как все вокруг развалится, и прахом пойдут все жертвы и успеяния родины в этой беспримерной войне, конечно, у меня не было, но какое-то гнетущее предчувствие огромной беды меня уже не покидало.

Все этому способствовало.

Шептуны более чем когда-либо шептали и предрекали. Государственная дума эффектнее, чем прежде, пускала фейерверки своих трескучих словоизвержений, не соображая их ни с моментом, ни с ближайшей государственной задачей. Как крысы, бегущие с обреченного на гибель корабля, уходили все сколько-нибудь «приличные» сановники и министры. Тень Распутина более зловеще, чем когда-либо, витала в закоулках Царскосельского дворца, и «прогрессивный паралич» Протопопова царствовал безраздельно в своем фантастическом величии.

— Пока мы у власти, — отпускал он направо и налево, — революция будет подавлена в самом корне, за что я ручаюсь!

И ему твердо верили в Царском Селе; благословляли даже судьбу, пославшую, наконец, России как раз в нуж-

ную минуту столь просвещенный, имевший и на Западе блестящий успех, государственный ум. Государю приписывали следующую фразу относительно выбора Протопопова:

— Чего еще они от меня хотят? Я взял товарища председателя Государственной думы... Раз он был ими избран, значит, дума ему доверяла и ценила его. Иностранная пресса в течение его поездки с Милюковым и другими думскими выдвигала его преимущественно... Союзники от него в восторге... Кого мне было еще искать? Они не знают сами, чего хотят!..

А в это время бойкотируемый думой, высмеиваемый в печати, игнорируемый общественными организациями Протопопов в действительности был уже сумасшедшим. Он без толку носился в Парголово к бурятскому врачевателю Бадмаеву, бывшему приятелю Распутина, где, как говорят, имел таинственные совещания с «нужными» людьми.

Революционный авангард тем временем не дремал. Момент слишком благоприятствовал. В руках «оппозиции» был такой отличный козырь: раздувать опасения сепаратного мира, будто бы не только замышляемого, но чуть ли не готового уже к подписи в Царском. Эта версия усиленно пускалась в ход якобы ради подъема патриотического настроения обленившегося тыла.

Настоящего войска в Петрограде больше не было. Гвардия, спасшая Париж своим наступлением в Восточной Пруссии, более не существовала. Оставались от нее только вновь сформированные запасные батальоны, немногого стоящие.

Но и это было только каплею в море по сравнению с массою того призывного, с военной точки зрения, сорокалетнего хлама, который без всякой энергии муштровался на площадях и в переулках Петрограда.

Некоторый недостаток в продовольствии также начинал ощущаться: более или менее длинные хвосты уже начинали вытягиваться по улицам у мясных и хлебных лавок.

Люди со средствами, однако, не терпели еще недостатка ни в чем. Пиры еще задавались, и лучшие рестораны изобиловали не только посетителями, но и всем, чем можно было удовлетворить их изысканные аппетиты.

Театры и кинематографы, как всегда, были перепол-

нены. Всюду чувствовалось, что «тыл» не стесняется в средствах.

Отдыхали глаза, наслаждался слух чудным лермонтовским стихом, и уличная сутолока еще не врывалась в театральное зало, как это неизбежно случалось два-три дня спустя.

Бенефициант был в ударе, и ему много аплодировали. Когда его чествовали при открытом занавесе, режиссер подал ему первым «подарок от государя императора», вторым — от «вдовствующей императрицы Марии Федоровны». Оба эти подношения удостоились бурных оваций, одинаково демонстративных и по адресу бенефицианта, и по адресу царственного внимания к русскому заслуженному артисту. Отмечали только, что государыня Александра Федоровна, не посещавшая русский драматический театр и вообще редко показывавшаяся публично, ничем не откликнулась.

Случилось так, что и на другой день мы были в театре, на этот раз — в Мариинском, где был наш абонемент в балете.

Днем у моей жены были визитеры, главным образом, из военных. Разговоры были характерные. Заезжий провинциальный «уполномоченный, бывший кирасир, редко наезжавший в Петроград, возбужденно толковал: «Говорю вам, и казаки в рабочих стрелять не будут, о солдатах и говорить нечего. Я побывал в военных кругах Петрограда, против думы никто не пойдет!»

В это время усиленно поговаривали о том, что думу по высочайшему повелению распустят и что она решила добровольно этому не подчиниться.

Другой военный, бывший лейб-улан, теперь штабной, возмущаясь этим, все-таки возлагал надежду на казаков и советовал «уполномоченному» не болтать вздора.

Артиллерийский полковник, стоявший со своей вновь сформированной батареей в Петергофе, приехал на воскресенье в Петроград, чтобы побывать в балете, и не хотел верить ни роспуску думы, ни серьезным военным столкновениям.

Под вечер полковник Б., состоявший уже при четвертом министре внутренних дел (начиная с Хвостова) «для поручений», телефонировал нам и дружески советовал не ехать сегодня в балет, особенно в автомобиле, так как кое-где предвидится стрельба, толпа может нагрянуть и в освещенный Мариинский театр.

— У страха глаза велики! — решила жена, подбодрен-

ная спокойствием артиллерийского полковника и бывшего лейб-улана, приглашенных к нам в ложу. Обнаружить заранее трусость казалось ей позорным, и мы поехали, и притом, как всегда, в автомобиле.

По дороге, на Дворцовой набережной, встречали конные наряды казаков, но в общем все, казалось, было спокойно; выстрелов не слышали. Говорили, что на Выборгской стороне идут столкновения рабочих с полицией, и казаки, будто бы уже хлещут встречных нагайками.

В зале театра, несмотря на первый, самый балетоманский абонемент и участие выдающейся балерины, было пустовато. Ясно было, что страх уже обвеял театральных завсегдатаев. К Кюба ужинать после спектакля, как бывало раньше, не поехали.

Военные спешили восвояси: один — в Петергоф, к своей батарее, другой — в главный штаб за вестями.

Обратный путь к дому совершили еще благополучно, заметили только, что Морская и Невский проспект необычно пустынны. В такой час они обыкновенно еще кишели народом.

Кто-то в театре передал пущенный по городу слух, что будто бы на чердаках домов всюду расставлены полициею пулеметы. Вероятно, этот слух и разогнал публику.

На следующий день и в последующие два дня революция была уже в полном ходу.

Понеслись по городу автомобили, наполненные вооруженными бандами солдат, с красными отметинами.

На окраинах и мостах, ведущих к окраинам, завязывались настоящие сражения. Из тюрем выпускали уже арестантов. Горело здание судебных установлений, сжигались судебный и прокурорский архивы.

С опасностью для жизни бывшие в здании суда адвокаты спасали ценные портреты наших старейшин, украшавшие комнату совета присяжных поверенных.

У Таврического дворца, где собралась Государственная дума, войска, переходившие на сторону думы, образовали компактную охрану и явились ядром, бесповоротно решившим судьбу России.

По Знаменской улице, мимо наших окон, носилась на открытых автомобилях вооруженная молодежь из студентов, рабочих и гимназистов; к ним примыкали девицы в наряде сестер милосердия.

Уже к вечеру первого дня было ясно, что мечты Протопопова о подавлении революции не осуществились. Сам

он через черный ход сбежал из своей министерской квартиры, пока толпа врывалась в соседнее помещение департамента полиции, чтобы громить его. Некоторое время он укрывался у знакомого зубного врача, но тот побоялся дольше держать его, и он явился «сдаться» в думу.

Городовых тем временем беспощадно убивали. Полицейские дома и участки брали приступом и сжигали; с офицеров срывали ордена и погоны и обезоруживали их; протестовавших тут же убивали.

К нам во двор вечером пришли «брать автомобиль». Перепуганный шофер скрылся, но автомобиль пришлось выдать, так как банда была вооружена, и его взяли бы силой.

В соседних домах автомобили и оружие забирали всюду, и налеты эти сопровождались обыкновенно победными выстрелами.

Мне передавали, что в группе молодежи, отбиравшей мой автомобиль, кто-то сказал:

— Тут не надо стрелять, зачем беспокоить Н. П.! — назвал меня кто-то по имени и отчеству.

Кто был этот благодетель: студент, рабочий или помощник присяжного поверенного?.. Тщетное любопытство... Тогда все перемешалось.

На соседнем дворе убили дворника за то, что он не сразу раскрыл ворота. Лазили по чердакам, все искали пулеметов и оружия.

К нам с обыском в особняк милостиво не пришли: спросили только у дворника: не ставила ли полиция пулемета на чердаке. Поверили на слово, что пулемета не имеется.

Легенда о пулеметах на чердаках домов сыграла вообще немалую роль.

Была ли верна подобная версия или это была только провокационная сказка, не берусь решать. Но рассказы относительно пулеметов давали отличный повод обстрелять любой дом и забраться в него с самыми разнообразными целями и намерениями.

Жертв революции, т. е. убитых, по крайней мере, в первые дни, было мало (городовые, которых беспощадно убивали, конечно, не в счет), почему ее прославили даже «бескровной», впоследствии она выросла уже в «великую».

Власти, войско, полиция — все, что призвано охранять «существующий порядок», сдало страшно быстро. По-

шла настоящая феерия. Ко дворцу Государственной думы стали стекаться толпы, как толпы правоверных в Мекку.

Тут был центр, гвоздь, Синай и таинственные еще пока, под облачной завесой, скрижали «нового завета».

Имя Родзянко было на всех устах. Одна из наших горничных, Марина, недалекая, но считавшая себя образованной, потому что вела знакомство с «распропагандированным» писарем из штаба, вечно бегала к думе и приносила в буфетную новости.

— Как Родзянко только показался, сейчас ему «ура» по всей площади... Милюков тоже нынче говорил, про проливы поминал, ему в ладоши хлопали...

Только ленивый не говорил тогда перед думой, и всех «одобряли» одинаково. Раз Марина выпалила и такую новость: «А хорошо, если бы Вильгельм согласился царствовать перед нами... Он умный, не то что наш!..».

Наконец, пришла весть об отречении царя.

В первую минуту как будто все ожили: вступит на престол Михаил, будет конституция, будет ответственное министерство, фронт не развалится, все пойдет своим чередом, спокойствие восстановится.

Не тут-то было.

«Прозорливые» вожди революции убедили великого князя Михаила отказаться впредь до созыва Учредительного собрания. Говорили, что Керенский и Набоков запугивали его, уверяя, что он тотчас же будет убит.

У менее прозорливых тут уж совсем руки опустились...

Выходя на улицу, все нацепляли красные банты и ленточки; особенно старательно — обезоруженные офицеры.

Я и мои близкие этим не согрешили.

Было противно тотчас же перекрашиваться.

Великие князья по очереди спешили засвидетельствовать свое почтение перед революцией. Командир флотского гвардейского экипажа великий князь Кирилл Владимирович сам привел свой экипаж в думу для присяги Временному правительству. Великий князь Николай Михайлович носился по городу в штатском платье и имел сияющий вид. Окончательно олибералившиеся тем временем газеты беспощадно хлестали «лежачего», отрекшегося царя, выливая на него и на его семью ушаты грязи, перетряхивая всю распутиновщину и сдабривая ее пикантною ложью,

Иначе, как на «демократической республике», никто уже не хотел мириться.

«Великая» разыгралась вовсю.

* * *

Часов в 10 утра 3 марта меня вызвали к телефону.

— Кто говорит?

— Н. П., с вами говорит министр юстиции А. Ф. Керенский. Сегодня в ночь сформировано Временное правительство. Я взял портфель министра юстиции.

— Поздравляю вас.

— Н. П., забудем наши разногласия. Вы должны помочь мне сформировать состав министерства и сената... Я хочу поставить правосудие на недосягаемую высоту...

— Прекрасная задача!

— Не можете ли вы собрать ваших товарищей по совету сегодня же? Я хотел бы посоветоваться, чтобы наметить кандидатов...

— Помещение нашего совета погибло при пожаре здания судебных установлений.

— А вы не хотите принять меня у себя!

— Буду рад, если это вас устроит: в котором часу?

— После трех, можно?

— Буду ждать.

Перезвонившись с делопроизводителем, я распорядился оповестить членов совета и просил их собраться к трем часам у меня, в — помещении моей канцелярии.

К трем часам почти все, находившиеся в Петрограде, товарищи по совету были в сборе.

«Определенно-левые» ликовали. Остальные, в том числе и я, без энтузиазма принимали совершившийся факт, с твердым намерением помочь правосудию удержаться на должной высоте.

Общим оттенком настроения было изумление перед столь быстрой сменой декораций. На это, по-видимому, не рассчитывали наиболее оптимистически настроенные вожди революции. Члены Государственной думы, решившие не подчиняться приказу о роспуске думы, имели при себе, как говорят, яд, на случай неудачи и захвата их правительственными силами, что представлялось им довольно вероятным.

В три часа в мою канцелярию без доклада суетливо проник громоздкий, но озабоченно-подвижный граф А. А. Орлов-Давыдов, член Государственной думы, каки-

ми-то таинственными, психологическими нитями очень привязанный к Керенскому.

— Здравствуйте, что скажете? — встретил я графа, которого знал хорошо, так как был одно время его адвокатом.

— Я от Александра Федоровича... Он просил меня предупредить вас, что немного запоздает, его задержали в думе... Вы мне позволите дождаться его у вас?.. Я должен потом ехать с ним...

Я провел графа в соседнюю комнату, и он расположился там курить и терпеливо ждать.

Довольно скоро после этого в передней послышалось движение. Швейцар суетливо распахнул двери моего рабочего кабинета, где заседали мы, и в него быстрыми шагами вошел Керенский. Он был в черной рабочей куртке, застегнутой наглухо, без всяких признаков белья. За ним следовал молодой присяжный поверенный Д. в военно-походной форме, как «призванный», работавший в какой-то военной канцелярии.

Керенский отрекомендовал нам его как «офицера для поручений» при нем, министре.

Граф Орлов-Давыдов не выдержал и высунул свою густо обросшую волосами любопытствующую физиономию из двери, чтобы насладиться зрелищем.

От имени совета присяжных поверенных я приветствовал нового министра юстиции, высказав ему пожелание быть стойким блюстителем законности, в которой так нуждается Россия.

Он отвечал тепло и искренно, называя нас своими «учителями и дорогими товарищами», после чего облобызался с каждым из нас.

Мы усадили его в кресло. Одну секунду он был близок к обмороку. Я распорядился подать крепкого вина, и он, глотнув немного, оправился.

Я сидел рядом с ним и дотронулся до его похолодевшей руки. Он крепко пожал мою.

Какая-то глубокая, затаенная жалость в эту минуту мирила меня с ним.

— Уже закружилась голова, — подумал я, — что-то будет дальше!..

— Я устал, ужасно устал! — как бы отвечая на мою тайную мысль, окончательно очнувшись, начал Керенский. — Три ночи совершенно без сна... Зато свершилось... Свершилось то, чего мы даже не смели ждать...

Партийные его товарищи, — а их было несколько в составе совета, — тотчас же стали расспрашивать о подробностях сформирования Временного правительства.

Керенский перечислил всех, причем отметил, что самым радикальным является он, министр юстиции и генерал-прокурор, и что в деле правосудия не будет места никаким компромиссам, за это он ручается. Основательную чистку именно надо начать с нашей юстиции. Сенаторы и судьи несменяемы; он, конечно, высоко ценит этот принцип, но с большинством, не нарушая принципа, можно будет справиться... хотя бы путем предложения повышенных пенсий...

— Александр Алексеевич нам это устроит, не правда ли? — обратился он с этими словами к члену совета Демьянову, бывшему тут же, и продолжал. — Я назначаю вас, А. А., директором департамента министерства юстиции по личному составу... Надеюсь, вы соглашаетесь... Господа, вы одобряете?..

Никто не возразил, в том числе сам Демьянов.

А. А. Демьянов, очень милый и мягкий, несмотря на свою ярую партийность, человек, был из адвокатов, делами не заваленных, и в качестве члена докладчика по советским делам отличался значительной ленцой, с вечными затягиваниями по изготовлению решений в окончательной форме.

Иных отличительных черт его мы не знали.

— Н. П., — порывисто обратился ко мне Керенский, — хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею в виду назначить несколько сенаторов из числа присяжных поверенных...

— Нет, А. Ф., разрешите мне остаться тем, что я есть, адвокатом, — поспешил я ответить. — Я еще пригожусь в качестве защитника...

— Кому? — с улыбкой спросил Керенский, — Николаю Романову?..

— О, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить.

Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх. Я и все поняли, что это намек на повешение.

— Две, три жертвы, пожалуй, необходимы! — сказал Керенский, обводя нас своим, не то загадочным, не то подслеповатым взглядом, благодаря тяжело нависшим на глаза верхним векам.

— Только не это, — дотронулся я до его плеча, — этого мы вам не простим!.. Забудьте о французской революции, мы в двадцатом веке, стыдно, да и бессмысленно идти по ее стопам...

Почти все присоединились к моему мнению и стали убеждать его не вводить смертной казни в качестве атрибута нового режима.

— Да, да! — согласился Керенский. — Бескровная революция, это была моя всегдашняя мечта...

Выбор двух товарищей министра прошел довольно быстро. Было ясно, что только признак явной принадлежности к его политической партии улыбался новому министру, причем и из этого круга лиц он старательно обходил имена сколько-нибудь яркие.

Обычная ошибка всех, так или иначе добравшихся до власти: боязнь сколько-нибудь сильных людей подле себя, — подумал я после того, как предложенная мною кандидатура присяжного поверенного Тесленко из Москвы и М. В. Беренштама из Петрограда были им мягко отвергнуты.

В конце концов, в товарищи министра юстиции попали два хороших человека и недурных юриста, но, с моей точки зрения, абсолютно непригодные для предстоящей определенно-быстрой, не терпящей отлагательства работы. Оба были скорее тяжкодумы, с невинною наклонностью к неторопливому, о хороших вещах, собеседованию.

Прокурором петроградской судебной палаты кто-то предложил Переверзева. Я попробовал отстоять его, расхвалив его деятельность на фронте, и сказал: «Оставьте его на фронте, пусть он носится там на коне и творит хорошо налаженное дело». Но Керенский уже ухватился за предложенную кандидатуру: «Пусть носится на коне здесь!.. Это для прокурора от революции будет даже эффектнее. По вашим же словам, он энергичный».

— У него энергия мирная, какая идет брату милосердия, для прокурора нужна другого сорта энергия, нужен и опыт, и навык, — попробовал я еще.

Кандидатура Переверзева была принята.

Побеседовали мы еще с полчаса и напились чаю.

Керенский, между прочим, нам объявил, что завтра он в качестве генерал-прокурора отправится в сенат для объявления об отречении царя и об образовании Временного правительства, о чем должно последовать сенатское определение для опубликования.

— А если они (т. е. сенаторы) вас не признают, так

как царь при своем отречении указал на своего преемника?!. — заметил я.

— Тогда мы, — трогая большим пальцем свою грудь, — их не признаем! — лаконически отрезал Керенский.

Относительно ближайшей деятельности министерства юстиции он посвятил нас в свои планы. Будет немедленно образован целый ряд законодательных комиссий для пересмотра законов уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных, причем положение об организации адвокатуры должно расширить ее автономию и обеспечить полную ее независимость.

Из ближайших законодательных декретов: еврейское равноправие во всей полноте и равноправие женщин, с предоставлением им политических прав. Наконец, не терпящее ни малейшего отлагательства учреждение особой, с чрезвычайными полномочиями, следственной комиссии для расследования и предания суду бывших министров, сановников, должностных и частных лиц, преступления которых могут иметь государственное значение.

— Председателем этой комиссии я решил назначить московского присяжного поверенного Н. К. Муравьева, — продолжал Керенский, оживляясь от мысли о том, сколько благого им уже предначертано. — Он как раз подходящий. Докопается, не отстанет, пока не выскребет яйца до скорлупы. К тому же и фамилия для такой грозной комиссии самая подходящая... Трепетали же перед Муравьевым Виленским и перед министром юстиции Муравьевым, пусть и наш Муравьев нагонит им трепета...

На прощание Керенский, как бы уже окрыленный оказанным ему дружеским приемом, снова расцеловался с нами.

Граф Орлов-Давыдов выскочил из своей засады и, опередив Керенского, помчался к подъезду.

Оставаясь с товарищами в продолжавшемся еще нашем заседании, я не видел дальнейшего, но домашние рассказывали, что у подъезда собралась кучка любопытных, приветствовавшая Керенского при его появлении. Тут были дворники и прислуга нашего и соседних домов и случайно остановившиеся прохожие. Керенский, стоя в автомобиле, произнес им краткую речь, начав ее словами «товарищи». Граф Орлов-Давыдов, взгромоздившись в автомобиль, отстранил шофера и сам стал управлять им.

Словоохотливая наша горничная Марина, все воспринимавшая, знавшая графа, как бывавшего у нас раньше,

побывав на митингах у дворца Кшесинской, принесла в буфетную новость: «Объясняли так, что князья и графья заместо дворников улицы будут мести... Наш графчик недаром к самому Керенскому шофером подсыпался... Метлы в руки брать охоты нет»...

* * *

Стоит ли описывать, что было дальше?..

В здании министерства юстиции во всех углах и утром, и по вечерам заседали комиссии. Либеральные профессора-юристы наслаждались в них своим собственным, долго сдерживаемым красноречием. Уголовники Чужбинский и Люблинский побивали в этом отношении все рекорды, не уступал им только все еще красноречивый А. Ф. Кони, который после переговоров с Керенским согласился принять должность первоприсутствующего сенатора в уголовном кассационном департаменте.

Товарищ нового министра А. С. Зарудный, председательствуя, руководил прениями, не отказывая и себе в удовольствии высказывать свое мотивированное суждение по поводу каждого высказанного мнения.

Общая комиссия подразделялась на специальные, а эти последние — на подкомиссии и на бюро докладчиков.

Кто только в них не заседал! Тут были и вновь испеченные сенаторы из адвокатов и из бывших прежде в загоне либеральных судебных деятелей, и вновь назначенные прокуроры, и председатели палат и окружных судов, и некоторые чины прежнего министерства, зарекомендовавшие себя так или иначе либерально, но адвокаты всюду преобладали.

В работах министерских комиссий Керенский лично не принимал участия, но раз он выступил с программною речью в общем собрании всех этих комиссий.

Появился он с помпой, в сопровождении двух очень молодых военных адъютантов, которые, став по его бокам, старались выразительно делать «стойку», поднимая и опуская глаза в том же темпе, как делал это он, произнося свою речь.

Его проводили аплодисментами.

Наряду с этим, административный строй нового министерства был и остался в хаотическом состоянии. Самый внешний вид когда-то аккуратно содержимого помещения выглядел теперь неряшливо, чему немало способствовали загрязнившиеся красные тряпицы, развешенные кое-где в виде революционных эмблем.

Курьеры и сторожа бестолково мыкались от двери к двери, не понимая, кого нужно просителям, которые толпились массами в министерских коридорах и расходились, не добившись толку.

Все вместе взятое производило впечатление какого-то временного пристанища пришлых людей.

Почти такое же впечатление получалось и при посещении других правительственных учреждений и канцелярий.

Мне случилось быть на Мойке в доме бывшего военного министра, где принимал теперь Гучков. Та же картина. Только сам новый министр в огромном, аккуратно прибранном кабинете производил, в противовес растерянности чинов министерства, впечатление некоторого, отчасти даже философского спокойствия. Он выслушивал всех внимательно и тотчас же довольно находчиво клал свои резолюции.

Я лично знал его, и он со мною пооткровенничал.

— Вот, как видите... Я без охраны. Каждую минуту могут ворваться, убить или выгнать отсюда... К этому надо быть готовым.

Своим мужеством он подкупил меня. Я сочувственно пожал ему руку.

В министерстве иностранных дел, где принимал теперь Милюков, традиции оказались сильнее революции. Все было мертвенно чинно и пустынно.

Я имел у нового министра аудиенцию в качестве «председателя чрезвычайной комиссии по расследованию германских зверств и нарушения правил и обычаев ведения войны».

Настроение нового руководителя нашей внешней политики было радужное, в себе уверенное. Он, казалось, уже предвкушал плоды победы...

План моих работ по комиссии он одобрил и поощрил меня к скорейшему выпуску нового издания, которое я хотел озаглавить: «Горе побежденным».

При выходе из его кабинета я столкнулся с английским посланником Бьюкененом. По словам лично мне знакомого дежурного чиновника министерства, где весь состав служащих оставался прежний, Бьюкенен ежедневно бывал здесь и по часам беседовал с Милюковым.

Новый министр иностранных дел, погруженный в мечты о проливах и Босфоре, чувствовал себя на своем посту, как дома. Он и помолодел, и приосанился.

По-видимому, ему и на ум не приходило, что не се-

годня-завтра «улица» его уберет с гамом и криком, с бряцанием оружия, и ему больше ничего не останется, как находчиво скаламбурить: «не я ушел, а меня ушли»!

Пришлось мне проникнуть и в кабинет председателя Временного правительства, министра внутренних дел князя Львова. Очаровательное впечатление производила его личность, и вместе с тем тревожные опасения, что он не на своем месте, проникали в сознание.

Самое помещение на площади Александринского театра казалось уютной, барской стариной, со своими аккуратно расставленными пузатыми креслами, диванами и стульями. Оставаясь в нем, не хотелось верить, что за его стенами все уже беспорядочно, взбаламучено, заплевано и безнадежно растерзано.

Сам князь Львов на своем посту отнюдь не имел вида ликующего представителя нового, победного режима. Какая-то сосредоточенно-покорная грусть, казалось, проникала уже все его существо. Движения и слова его были медленны и как-то застенчиво-сдержанны, точно их каждую секунду кто-нибудь намеревался грубо прервать.

Когда зашла речь о Керенском, я высказал откровенно о нем свое мнение. Князь на это задумчиво промолвил:

— Вы хорошо его знаете, ведь он из вашего адвокатского круга... Вы верно судите: он был на месте со своим истерическим пафосом только пока нужно было разрушать. Теперь задача куда труднее... Одного истерического пафоса не надолго хватит. Теперь и без того кругом истерика, ее врачевать надо, а не разжигать!..

* * *

Участь отрекшегося царя и всей его семьи, арестованных в царскосельском дворце, не могла не интересовать всех честных людей.

Я живо представлял себе печальный трагизм их положения и, естественно, интересовался их судьбой.

Непосредственно вслед за тем, как Керенский впервые посетил царскосельских узников, мне пришлось с ним видеться. Нас было несколько в его кабинете, всех товарищей, присяжных поверенных, когда он только что вернулся из Царского Села. Мне показалось, что Керенский был несколько взволнован; во всяком случае, к чести его должен отметить, что он не имел торжествующе-самодовольного вида.

По его словам, с государем, или, как он называл его, Николаем II он имел довольно продолжительную беседу. Царь представил ему и наследника.

Кто-то спросил Керенского: правда ли, что наследник упорно допрашивал его: вправе ли был отец отречься за него от престола? На это Керенский с усмешкою сказал: «Не думаю, чтобы он меня принял за адвоката. Он со мною ни о чем не консультировал. По-видимому, он очень привязан к отцу...».

Относительно государыни он обмолвился: «Она во всей своей замкнутой гордыне. Едва показалась и... приняла меня по-императорски...».

Я поинтересовался знать: как он, Керенский, титуловал царя.

На это Керенский живо, в свою очередь, спросил меня:

— А как бы вы, будучи на моем месте, его величали?

— Разумеется, «вашим величеством», — сказал я с настойчивостью. — То, что он был царем и царствовал в течение 22 лет, отнять вы у него не можете.

— Я уже не помню, как обмолвился... — не желая, видимо, ответить прямо, оборвал Керенский затронутую тему.

На самых первых порах обстановка, в которой содержался царь и его семья, еще носила следы почетного плена и не была слишком стеснительна. Охрана была только вокруг дворца, внутри же пленники могли видеться не только между собою, но и со своею небольшою свитою, оставшейся им верной. Вырубова до перевода ее в Петропавловскую крепость бывала неотступно при государыне.

Гучков, в качестве военного министра, начальником внутреннего караула дворца назначил бывшего лейб-улана П. П. Коцебу, старший брат которого долгое время состоял адъютантом великого князя Николая Николаевича.

Светски-дисциплинированный, беспартийно-тактичный, Коцебу своим внимательным отношением к положению царственных пленников был вполне на месте. Он исполнял свой долг, повинуясь данной ему инструкции, но вместе с тем не допускал в своих приемах ни малейшей бравады, дурного тона или непочтительности, чем снискал себе скоро расположение всей царской семьи.

П. П. Коцебу, наш давний, хороший знакомый, неред-

ко бывал у нас. После оставления им Царского Села он кое-чем поделился с нами.

— Ужасно было тяжело! Я поседел за это время. — Начинал он обыкновенно свое повествование.

Бывший гвардейский офицер полка ее величества, лично известный царю и царице, должен был в качестве их тюремщика чувствовать себя действительно убийственно. По его словам, он не отклонил возложенной на него миссии только в надежде скрасить своим присутствием, сколько возможно, участь заключенных.

На первых порах это ему удавалось.

Государь, свалив с своих плеч бремя самодержавия, казался спокойным. Он весь ушел в тихий уют своей семейной обстановки.

Только одна царица оставалась по-прежнему горделиво-неприступной и теперь уже казалась какою-то не от мира сего, ушедшею целиком в свою затаенную, далекую от окружающего думу.

Когда еще Вырубова была при ней, они вдвоем производили впечатление экзальтированных духовидиц. Вырубова крестилась перед каждою дверью, перед каждою встречею.

За время Коцебу, т. е. почти на первых порах царского плена, разыгрался следующий эпизод:

В Царское прибыл из Петрограда спешно по железной дороге небольшой отряд каких-то вооруженных, не то солдат, не то добровольцев, предводительствуемый весьма, по-видимому, энергичным «полковником». В их распоряжении были и три пулемета.

Оставив отряд на вокзале, «полковник» отправился во дворец, где вызвал Коцебу для переговоров. Он заявил ему, что в интересах «углубления революции» установившийся режим содержания царя и его семьи недопустим. Не имеется даже уверенности, что царь уже не скрылся. Он с «товарищами» уполномочен принять охрану царя, препроводив его в Петропавловскую крепость. Коцебу попросил «полковника» подождать ответа, сам же отправился в помещение своего караульного отряда. Здесь он объяснил солдатам о цели появления самовольного, как он полагал, авантюриста, желающего силой захватить царя, и спросил их, обещают ли они исполнить свой долг по охране царя и готовы ли в случае надобности оружием отразить попытку захватить его.

В числе «товарищей» нашелся один, который вызвался «уладить дело» с «полковником», переговорив с ним

наедине. По-видимому, личность «полковника» была ему хорошо известна по каким-то партийным отношениям. Сам вызвавшийся был призывной, из очень красных-непримиримых.

Его переговоры с полковником увенчались для всех неожиданным успехом. Полковник как-то разом сдал, секунду задумался, а затем сказал, что во всяком случае должен убедиться, что слухи об исчезновении Николая II ложны. Ему должны показать отрекшегося царя.

На это предложение Коцебу пошел. Вызвав графа Бенкендорфа, бывшего при царе, он переговорил с ним, и было решено, что государь покажется, пройдя коридором, в конце которого будут находиться желающие видеть его.

Когда «полковника» провели в условное место, под охраной караульных и самого Коцебу, и сообщили, что царь сейчас покажется, он, по словам Коцебу, очень заволновался. За ним зорко стали наблюдать, чтобы он не выхватил из кобуры револьвера.

Государь показался в дверях, выходящих в коридор, и довольно долго постоял в них. Затем он медленно пересек коридор и скрылся в противоположных дверях, кивнув на прощание головой.

Минута была полна жуткого трагизма.

Как передавал нам Коцебу, «полковник», при появлении царя и пока тот не скрылся, все время дрожал, как в лихорадке, и весь изменился в лице. Когда царь скрылся, он молча вышел из дворца и со своим отрядом и пулеметами немедленно покинул Царское Село.

— Не была ли это попытка преданных царю лиц захватить его с целью освобождения и, быть может, даже восстановления его царственных прав, под вымышленным предлогом препровождения в Петропавловскую крепость?

Коцебу на этот мой вопрос ответил отрицательно. Личность «полковника» была ему совершенно неизвестна и не отличалась симпатичностью. Было более вероятно, что имелось в виду убийство царя во имя все упорнее выдвигавшегося тогда лозунга «углубления революции».

Я расспрашивал Коцебу о том, как переносит царь свое пленение, что говорит о своем отречении, каково вообще его отношение ко всему случившемуся.

Коцебу весьма неохотно вдавался в интимные подробности, тем не менее однажды обмолвился:

— Я не только преклонялся пред достоинством его поведения, я завидовал ясности его духа и глубокому

смирению, с которыми он переносил свои несчастья... Отречение он считал актом, необходимым для счастья своей страны... Когда я заметил ему, что были войсковые части, которые остались ему верными до конца, государь тотчас же перебил меня словами: «Да, все остались мне верными, но после моего отречения им только и оставалось присягнуть Временному правительству. Кровь пролилась вопреки моей воле...»

Когда пошел слух о том, что армия готовится к наступлению на немцев и что в Галиции одержана крупная победа, царь, — по словам Коцебу, — истово перекрестился и сказал: «Благодарение Богу! Лишь бы эта несчастная война хорошо кончилась для России, все остальное сейчас неважно...».

Однажды Коцебу решился спросить государя: каковы его личные виды и желания относительно его и семьи его дальнейшей судьбы?

Царь на это тотчас же ответил: «Мое желание — не покидать России, но ради здоровья сына я предпочел бы поселиться на южном берегу Крыма... Если же мое присутствие в России может вредить государственному спокойствию, переселение за границу я приму, как изгнание...»

И с царицей Коцебу однажды попробовал заговорить на ту же щекотливую тему, он предложил ей: «Ваше величество, вы написали бы королеве английской, чтобы она позаботилась о вас и о детях ваших».

Александра Федоровна вся встрепенулась, окинула его быстрым взглядом и сказала: «Мне не к кому обращаться с мольбами после всего пережитого нами, кроме Господа Бога. Английской королеве мне не о чем писать...»

Коцебу, подозреваемый в слишком большом мирволении царственным пленникам, вскоре был сменен. На его место Керенским был назначен Коровиченко, бывший военный юрист, потом присяжный поверенный, во время войны призванный на военную службу.

Когда я попенял Керенскому за то, что он удалил от царской семьи Коцебу, который, благодаря своей воспитанности, был здесь на месте, он мне сказал: «Ему перестали доверять, подозревали, что он допускал сношения царя с внешним миром. Коровиченко вне подозрений, но он человек мягкий и деликатный, ненужных стеснений он не допустит».

Позднее, когда и Коровиченко кем-то заменили, Керенский как-то, посмеиваясь, обмолвился: «Беда мне с этим Николаем II, он всех очаровывает. Коровиченко прямо-таки в него влюбился. Пришлось убрать. А на этом многие играют: требуют непременно отправить его в Петропавловскую...».

Я резко заметил: «Это была бы гнусность...» — Керенский не возразил, и я тут же спросил его: «Отчего Временное правительство не препроводит немедленно его с семьей за границу, чтобы раз навсегда оградить его от унизительных мытарств?» Керенский не сразу мне ответил. Помолчав, он как-то нехотя процедил: «Это очень сложно, сложнее, нежели вы думаете...».

А. Ф. Керенский

Царская семья и Временное правительство

Опровергать старческие бредни о том, как 2 марта — в первое мое официальное, как министра юстиции, свидание с советом присяжных поверенных во главе с Карабчевским, — я проявил желание повесить царя, делая даже символический жест у своей шеи, и отказался от своего намерения лишь сконфуженный великим идеалистом и противником смертной казни Карабчевским, — опровергать всю эту чепуху я не буду. Пусть защитник Брешко-Брешковской, Сазонова и их самоотверженных товарищей в революционной борьбе с спокойной совестью на склоне своих лет утешается мыслью, что лишь его могучее красноречие превратило мои кровожадные мечты в твердое решение добиться немедленной отмены в России смертной казни.

Гораздо существеннее другое измышление почтенного автора, касающееся уже не отдельного лица, а Временного правительства в его целом.

Правда ли, что мы могли и не захотели спасти жизнь царской семьи своевременной отправкой ее за границу вообще и в Англию — в частности? — Этот вопрос интересовал очень многих, обсуждался в иностранной печати, и я считаю своевременным теперь объяснить, почему в конце лета 1917 года Николай II и его семья оказались не в Англии, а в Тобольске.

Вопреки всем сплетням и инсинуациям, Временное правительство не только смело, но и решило еще в самом начале марта отправить царскую семью за границу. Я сам 7 марта (20) в заседании московского совета, отвечая на яростные крики: «Смерть царю, казнить царя», — сказал: «Этого никогда не будет, пока мы у власти. Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обстоятельство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию. Я сам довезу его до Мурманска». — Это мое заявление вызвало в некоторых советских кругах обеих столиц взрыв возмущения. Не успел

еще я вернуться в Петроград, как глубокой ночью вооруженная, с броневиком, как потом оказалось, самозванная советская делегация ворвалась в Царскосельский дворец и требовала предъявления ей царя, с явной целью его увоза. Сделать это ей не удалось.

Но Временное правительство после этого изъяло охрану царя из ведения военного министерства и ком. войсками ген. Корнилова и возложило эту тягчайшую обязанность на меня — министра юстиции.

Впредь случаев, подобных описанному, не повторялось. Однако, признавая пребывание б. царской семьи у самой столицы и вообще в России необеспеченным от всяких случайностей при всяких возможных политических потрясениях и переменах, Временное правительство озабочено было подготовкой выезда обитателей Александровского дворца за границу и вело соответствующие дипломатические переговоры с лондонским кабинетом.

Однако, уже летом, когда оставление царской семьи в Царском Селе сделалось совершенно невозможным, мы, Временное правительство, получили категорическое официальное заявление о том, что до окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен.

Утверждаю, что если бы не было этого отказа, то Временное правительство не только посмело, но и вывезло бы благополучно Николая II и его семью за пределы России, так же, как мы вывезли его в самое тогда в России безопасное место — в Тобольск. Несомненно, что если бы корниловский мятеж или октябрьский переворот застали бы царя в Царском, то он бы погиб не менее ужасно, но почти на год раньше.

* * *

Ген. А. И. Деникин

Февральская революция и армия

В августе 1915 года государь, под влиянием кругов императрицы и Распутина, решил принять на себя верховное командование армией. Этому предшествовали безрезультатные представления восьми министров и некоторых политических деятелей, предостерегавших государя от опасного шага. Официальными мотивами выставлялись, с одной стороны, трудность совмещения работы управления и командования, с другой — риск брать на себя ответственность за армию в тяжкий период ее неудачи и отступления... Но истинной и побудительной причиной этих представлений был страх, что отсутствие знаний и опыта у нового верховного главнокомандующего осложнит и без того трудное положение армии, а немецко-распутинское окружение, вызвавшее паралич правительства и разрыв его с Государственной думой и страной, поведет к разложению армии.

Ходила, между прочим, молва, впоследствии оправдавшаяся, что решение государя вызвано отчасти и боязнью кругов императрицы перед все более возраставшей, невзирая на неудачи армии, популярностью великого князя Николая Николаевича...

Этот значительный по существу акт не произвел в армии большого впечатления. Генералитет и офицерство отдавало себе ясный отчет в том, что личное участие государя в командовании будет лишь внешнее, и потому всех интересовал более вопрос:

— Кто будет начальником штаба?

Назначение генерала Алексеева успокоило офицерство.

Не всегда достаточно твердый в проведении своих требований в вопросе о независимости ставки от сторонних влияний, Алексеев проявил гражданское мужество, которого так не хватало жадно державшимся за власть сановникам старого режима.

Однажды после официального обеда в Могилеве императрица взяла под руку Алексеева и, гуляя с ним по саду, завела разговор о Распутине.

Несколько волнуясь, она горячо убеждала Михаила Васильевича Алексеева, что он не прав в своих отношениях к Распутину, что «старец — чудный и святой человек», что на него клевещут, что он горячо привязан к их семье, а главное, что его посещение ставки принесет счастье...

Алексеев сухо ответил, что для него это — вопрос, давно решенный, и что, если Распутин появится в ставке, он немедленно оставит пост начальника штаба.

— Это ваше окончательное решение?

— Да, несомненно.

Императрица резко оборвала разговор и ушла, не простившись с Алексеевым.

Этот разговор, по словам Михаила Васильевича, повлиял на ухудшение отношений к нему государя. Вопреки установившемуся мнению, отношения эти, по внешним проявлениям не оставлявшие желать ничего лучшего, не носили характера ни интимной близости, ни дружбы, ни даже исключительного доверия.

Государь никого не любил, разве только сына. В этом был трагизм его жизни — человека и правителя.

Несколько раз, когда Михаил Васильевич, удрученный нараставшим народным неудовольствием против режима и трона, пытался выйти из рамок военного доклада и представить царю истинное освещение событий, когда касался вопроса о Распутине и об ответственном министерстве, он встречал хорошо знакомый многим непроницаемый взгляд и сухой ответ:

— Я это знаю.

Больше ни слова.

Но в вопросах управления армией государь всецело доверялся Алексееву, выслушивая долгие, слишком, быть может, обстоятельные доклады его. Выслушивал терпеливо и внимательно, хотя, по-видимому, эта область не захватывала его. Некоторое расхождение случалось лишь в вопросах второстепенных — о назначениях приближенных, о создании им должностей и т. д.

Между тем, борьба Государственной думы (прогрессивного блока) с правительством, находившая, несомненно, сочувствие у Алексеева и у командного состава, принимала все более резкие формы. Запрещенный для печати отчет о заседании 1 ноября 1916 г., с историческими

речами Шульгина, Милюкова и др., в рукописном виде распространен был повсеместно в армии. Настроение настолько созрело, что подобные рукописи не таились уже под спудом, а читались и резко обсуждались в офицерских собраниях.

— Я был крайне поражен, — говорил мне один видный социалист и деятель городского союза, побывав впервые в армии в 1916 г., — с какой свободой всюду, в воинских частях, в офицерских собраниях, в присутствии командиров, в штабах и т. д. говорят о негодности правительства, о придворной грязи. Это — в нашей стране «слова и дела»... Вначале мне казалось, что меня просто провоцируют.

Связь думы с офицерством существовала давно. Работа комиссии государственной обороны в период воссоздания флота и реорганизации армии после японской войны протекла при деятельном негласном участии офицерской молодежи. А. И. Гучков образовал кружок, в состав которого вошли Савич, Крупенский, граф Бобринский и представители офицерства, во главе с генералом Гурко. По-видимому, к кружку примыкал и генерал Поливанов, сыгравший впоследствии такую крупную роль в развале армии (Поливановская комиссия). Там не было ни малейшего стремления к потрясению основ, а лишь желание подтолкнуть тяжелый бюрократический воз, дать импульс работе и инициативу инертным военным управлениям.

По словам Гучкова, кружок работал совершенно открыто, и военное ведомство первое время снабжало его даже материалами. Но затем отношение Сухомлинова круто изменилось, кружок был взят под подозрение, пошли разговоры о «младотурках»...

После Галицийского отступления Государственной думе удалось, наконец, добиться постоянного участия своих членов в деле правильной постановки военных заказов, а земским и городским союзам — образования «главного комитета по снабжению армий».

Это обстоятельство было также учтено надлежаще в войсках, укрепляя доверие к Государственной думе и общественным организациям.

Но в области внутренней политики положение не улучшилось. И к началу 1917 г. крайне напряженная атмосфера политической борьбы выдвинула новое средство:

— Переворот.

В Севастополь к больному Алексееву приехали представители некоторых думских и общественных кругов. Они совершенно откровенно заявили, что назревает переворот. Как отнесется к этому страна, они знают. Но какое впечатление произведет переворот на фронте, они учесть не могут. Просили совета.

Алексеев в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны, на смертельную угрозу фронту, который, по его пессимистическому определению, «и так не слишком прочно держится», и просил во имя сохранения армии не делать этого шага.

Представители уехали, обещав принять меры к предотвращению готовившегося переворота.

Не знаю, какие данные имел Михаил Васильевич, но он уверял впоследствии, что те же представители вслед за сим посетили Брусилова и Рузского и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили свое первоначальное решение: подготовка переворота продолжалась.

Пока трудно выяснить детали этого дела. Участники молчат, материалов нет, а все дело велось в глубокой тайне, не проникая в широкие армейские круги. Тем не менее, некоторые обстоятельства стали известны.

Целый ряд лиц обращался к государю с предостережением о грозившей опасности стране и династии, в том числе Алексеев, Гурко, протопресвитер Шавельский, Пуришкевич, великие князья Николай и Александр Михайловичи и сама вдовствующая императрица.

После приезда в армию осенью 1916 г. представителя Государственной думы Родзянко, у нас распространилось письмо его к государю: оно предостерегало царя о той громадной опасности, которая угрожает трону и династии, благодаря гибельному участию в управлении государством Александры Федоровны.

Одно из подобных «вмешательств» Родзянки вызвало высочайший выговор, переданный письменно председателю Государственной думы по приказанию государя генералом Алексеевым. Это обстоятельство, между прочим, весьма существенно отразилось на последующих отношениях этих двух государственных деятелей.

Но никакие представления не действовали.

В состав образовавшихся кружков входили некоторые члены правых и либеральных кругов Государственной думы, прогрессивного блока, члены императорской фами-

лии и офицерство. Активным действиям должно было предшествовать последнее обращение к государю одного из великих князей... В случае неуспеха, в первой половине марта предполагалось вооруженной силой остановить императорский поезд во время следования его из ставки в Петроград... Далее должно было последовать предложение государю отречься от престола, а в случае несогласия — физическое его устранение. Наследником предполагался законный правопреемник Алексей, а регентом — Михаил Александрович.

В то же время большая группа прогрессивного блока, земских и городских деятелей, причастная или осведомленная о целях кружка, имела ряд заседаний для выяснения вопроса, «какую роль должна сыграть после переворота Государственная дума». Тогда же был намечен и первый состав кабинета, причем выбор главы его, после обсуждения кандидатур М. Родзянко и князя Львова, остановился на последнем.

Но судьба распорядилась иначе.

Раньше предполагавшегося переворота началась, по определению Альберта Тома, «самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская революция»...

2. Революция и армия. — Приказ № 1

События застали меня далеко от столицы, в Румынии, где я командовал 8-м армейским корпусом. Оторванные от родины, мы если и чувствовали известную напряженность политической атмосферы, то не были подготовлены вовсе ни к какой неожиданно скорой развязке, ни к тем формам, которые она приняла.

Фронт был поглощен своими частными интересами и заботами. Готовились к зимнему наступлению, которое вызывало совершенно отрицательное к себе отношение у всего командного состава нашей 4-й армии: употребляли все усилия, чтобы ослабить до некоторой хотя бы степени ту ужасную хозяйственную разруху, которую создали нам румынские пути сообщения. Где-то в Новороссии на нашей базе всего было достаточно, но до нас ничего не доходило. Лошади дохли от бескормицы, люди мерзли без сапог и теплого белья и заболевали тысячами: из нетопленных румынских вагонов, неприспособленных под больных и раненых, вынимали окоченелые трупы и складывали, как дрова, на станционных платформах. Молва

катилась, преувеличивая отдельные эпизоды, волновала, искала виновных...

Утром 3 марта подали телеграмму из штаба армии «для личного сведения» о том, что в Петрограде вспыхнуло восстание, что власть перешла к Государственной думе и что ожидается опубликование важных государственных актов. Через несколько часов телеграф передал и манифесты императора Николая II и великого князя Михаила Александровича. Сначала было приказано распространить их, потом, к немалому моему смущению (телефоны разнесли уже весть), задержать, потом, наконец, снова — распространить.

Эти колебания, по-видимому, были вызваны переговорами Временного комитета Государственной думы и штаба Северного фронта о задержке опубликования актов, ввиду неожиданного изменения государем основной их идеи: наследование престола не Алексеем Николаевичем, а Михаилом Александровичем. Задержать, однако, уже не удалось.

Войска были ошеломлены, — трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14 и 15 дивизии весть об отречении своего императора. И только местами в строю непроизвольно колыхались ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слезы...

Спустя некоторое время, когда улеглось первое впечатление, я два раза собирал старших начальников обеих дивизий с целью выяснить настроение войск и беседовал с частями. Эти доклады, личные впечатления, донесения соседних корпусов, которые я читал потом в штабе армии, дают мне возможность оценить объективно это настроение. Главным образом, конечно, офицерской среды, ибо солдатская масса, — слишком темная, чтобы разобраться в событиях, и слишком инертная, чтобы тотчас реагировать на них, — тогда не вполне еще определилась.

Чтобы передать точно тогдашнее настроение, не преломленное сквозь призму времени, я приведу выдержки из своего письма к близким от 8 марта:

«Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но в общем войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются

осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенные течения:

1) Возврат к прежнему немыслим.

2) Страна получит государственное устройство, достойное великого народа: вероятно, конституционную ограниченную монархию.

3) Конец немецкому засилью и победное продолжение войны».

Отречение государя сочли неизбежным следствием всей нашей внутренней политики последних лет. Но никакого озлобления лично против него и против царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборот, все интересовались их судьбой и опасались за нее.

Назначение верховным главнокомандующим Николая Николаевича и его начальником штаба генерала Алексеева было встречено в офицерской и солдатской среде вполне благоприятно.

Интересовались, будет ли армия представлена в Учредительном собрании.

К составу Временного правительства отнеслись довольно безучастно, к назначению военным министром штатского человека — отрицательно, и только участие его в работах по государственной обороне и близость к офицерским кругам сглаживали впечатление.

Многим кажется удивительным и непонятным тот факт, что крушение векового монархического строя не вызывало среди армии, воспитанной в его традициях, не только борьбы, но даже отдельных вспышек, что армия не создала своей Вандеи...

Мне известны только три эпизода резкого протеста: движение отряда генерала Иванова на Царское Село, организованное ставкой в первые дни волнений в Петрограде, выполненное весьма неумело и вскоре отмененное, и две телеграммы, посланные государю командирами 3 конного и гвардейского конного корпусов, графом Келлером и Ханом-Нихичеванским. Оба они предлагали себя и свои войска в распоряжение государя для подавления «мятежа»...

Время шло.

От частей корпуса стало поступать ко мне множество крупных и мелких недоуменных вопросов.

Кто же у нас представляет верховную власть: Временный комитет, создавший Временное правительство, или это последнее? Запросил, не получил ответа. Само

Временное правительство, по-видимому, не отдавало себе ясного отчета о существе своей власти.

Кого поминать на богослужении?

Петь ли народный гимн и «спаси, господи, люди твоя»?..

Эти кажущиеся мелочи вносили, однако, некоторое смущение в умы и нарушали установившийся военный обиход.

Начальники просили скорее установить присягу.

Был и такой вопрос: имел ли право император Николай Александрович отказаться от прав престолонаследия за своего несовершеннолетнего сына?..

Скоро, однако, другие вопросы стали занимать войска: получен был первый приказ военного министра Гучкова, с изменениями устава внутренней службы в пользу «демократизации армии». Этим приказом, на первый взгляд довольно безобидным, отменялись титулование офицеров, обращение к солдатам на «ты» и целый ряд мелких ограничений, установленных для солдат уставом, — воспрещение курения на улицах и в других общественных местах, посещения клубов и собраний, игры в карты и т. д.

Последствия были совершенно неожиданные для лиц, не знавших солдатской психологии. Строевые же начальники понимали, что если необходимо устранить некоторые отжившие формы, то делать это надо исподволь, осторожно, а главное, отнюдь не придавая этому характера «завоеваний революции»...

Солдатская масса, не вдумавшись нисколько в смысл этих мелких изменений устава, приняла их просто как освобождение от стеснительного регламента службы, быта и чинопочитания.

Но если все эти мелкие изменения устава, распространительно толкуемые солдатами, отражались только в большей или меньшей степени на воинской дисциплине, то разрешение военным лицам во время войны и революции «участвовать в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью», представляло уже угрозу самому существованию армии.

Ставка, обеспокоенная этим обстоятельством, прибегла тогда к небывалому еще в армии способу плебисцита: всем начальникам, до командира полка включительно, предложено было высказаться по поводу новых приказов в телеграммах, адресованных непосредственно военному министру. Я не знаю, справился ли телеграф со своей за-

дачей, достигла ли назначения эта огромная масса телеграмм, но все те, которые стали мне известны, были полны осуждения, во всех сквозил страх за будущее армии.

А в то же время военный совет, состоявший из старших генералов, якобы хранителей опыта и традиции армии, — в Петрограде в заседании своем 10 марта постановил доложить Временному правительству:

«Военный совет считает своим долгом засвидетельствовать полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которые Временное правительство принимает в отношении реформ наших вооруженных сил, соответственно новому укладу жизни в государстве и армии, в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия и освобождению Европы от гнета прусского милитаризма».

Я не могу после этого не войти в положение штатского военного министра.

Нам трудно было понять, какими мотивами руководствовалось военное министерство, издавая свои приказы. Мы не знали тогда о безудержном оппортунизме лиц, окруживших военного министра, о том, что Временное правительство находится в плену у совета рабочих и солдатских депутатов и вступило с ним на путь соглашательства, являясь всегда страдательной стороной.

1 марта советом рабочих и солдатских депутатов был издан приказ № 1, приведший к переходу фактической военной власти к солдатским комитетам, к выборному началу и смене солдатами начальников, — приказ, имеющий такую широкую и печальную известность и давший первый и главный толчок к развалу армии.

Результаты приказа № 1 отлично были поняты вождями революционной демократии. Говорят, что Керенский впоследствии патетически заявил, что отдал бы десять лет жизни, чтобы приказ не был подписан... Произведенное военными властями расследование «не обнаружило» авторов его. Чхеидзе и прочие столпы совета рабочих и солдатских депутатов впоследствии отвергли свое участие, личное и членов комитета, в редактировании приказа.

5 марта совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ № 2 «в разъяснение и дополнение № 1». Приказ этот, оставляя в силе все основные положения, установленные № 1, добавлял: приказ № 1 установил комитеты, но не выборное начальство; тем не менее, все произ-

веденные уже выборы офицеров должны остаться в силе; комитеты имеют право возражать против назначения начальников; все петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно совета рабочих и солдатских депутатов, а в вопросах, относящихся до военной службы, — военным властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от № 1, был уже скреплен председателем военной комиссии Временного правительства...

Генерал Потапов, именовавшийся «председателем военной комиссии Государственной думы», так говорит о создавшихся взаимоотношениях между советом рабочих и солдатских депутатов и военным министром: «6 марта вечером на квартиру Гучкова пришла делегация совдепа в составе Соколова, Нахамкеса и Филипповского (ст. лейтенант), Скобелева, Гвоздева, солдат Падерина и Кудрявцева (инженера) по вопросу о реформах в армии... Происходившее заседание было очень бурным. Требования делегации Гучков признал для себя невозможными и несколько раз выходил, заявляя о сложении с себя звания министра. С его уходом я принимал председательствование, вырабатывались соглашения, снова приглашался Гучков, и заседание закончилось воззванием, которое было подписано от совдепа Скобелевым, от комитета Государственной думы — мною и от правительства — Гучковым. Воззвание аннулировало приказы № 1 и № 2, но военный министр дал обещание проведения в армии более реальных, чем он предполагал, реформ по введению новых правил взаимоотношений командного состава и солдат». Эти реформы должна была провести комиссия генерала Поливанова.

Единственным компетентным военным человеком в этом своеобразном «военном совете» являлся генерал Потапов, который и должен нести свою долю нравственной ответственности за «более реальные реформы»...

В действительности же воззвание, опубликованное в газетах 8 марта, вовсе не аннулировало приказов № 1 и № 2, а лишь разъяснило, что они относятся только к войскам Петроградского военного округа. «Что же касается армий фронта, то военный министр обещал незамедлительно выработать, в согласии с Исполнительным Комитетом совета рабочих и солдатских депутатов, новые правила отношений солдат и командного состава». Как приказ № 2, так и это воззвание не получили никакого распространения в войсках и ни в малейшей степени не по-

влияли на ход событий, вызванных к жизни приказом № 1.

Быстрое и повсеместное, по всему фронту и тылу, распространение приказа № 1 обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, проведенные в нем, зрели и культивировались много лет, — одинаково в подпольях Петрограда и Владивостока, как заученные прописи, проповедовались всеми местными армейскими демагогами, всеми наводнившими фронт делегатами, снабженными печатью неприкосновенности от совета рабочих и солдатских депутатов.

Были и такие факты: в самом начале революции, когда еще никакие советские приказы не проникли на Румынский фронт, командовавший 6-й армией генерал Цуриков по требованию местных демагогов ввел у себя комитеты и даже пространной телеграммой, заключавшей доказательства пользы нововведения, сообщил об этом и нам — командирам корпусов чужой армии.

С другой стороны, некоторые солдатские организации отнеслись отрицательно к приказу, считая его провокацией. Так, нижегородский совет солдатских депутатов 4 марта постановил не принимать к исполнению полученную «прокламацию» и призвать войска «повиноваться Временному правительству, его органам и командному составу».

Мало-помалу солдатская масса зашевелилась. Началось с тылов, всегда более развращенных, чем строевые части, среди военной полуинтеллигенции — писарей, фельдшеров, в технических командах. Ко второй половине марта, когда в наших частях только усилились несколько дисциплинарные проступки, командующий 4-й армией в своей главной квартире ожидал с часу на час, что его арестуют распущенные нестроевые банды...

Прислали, наконец, текст присяги «на верность службы Российскому государству». Идея верховной власти была выражена словами:

«...Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления воли народа при посредстве Учредительного собрания».

Приведение войск к присяге повсюду прошло спокойно, но идиллических ожиданий начальников не оправдало: ни подъема, ни успокоения в смятенные умы не внесло. Могу отметить лишь два характерных эпизода. Командир одного из корпусов на Румынском фронте во

время церемонии присяги умер от разрыва сердца. Граф Келлер заявил, что приводить к присяге свой корпус не станет, так как не понимает существа и юридического обоснования верховной власти Временного правительства; не понимает, как можно присягать, повиноваться Львову, Керенскому и прочим определенным лицам, которые могут ведь быть удалены или оставить свои посты...

В половине марта я был вызван на совещание к командующему 4-й армией генералу Рагозе. Участвовали генералы Гаврилов, Сычевский и начальник штаба Юнаков. Отсутствовал граф Келлер, не признавший новой власти.

Нам прочли длинную телеграмму генерала Алексеева, полную беспросветного пессимизма, о начинающейся дезорганизации правительственного аппарата и развале армии; демагогическая деятельность совета рабочих и солдатских депутатов, тяготевшая над волей и совестью Временного правительства, полное бессилие последнего, вмешательство обоих органов в управление армией. В качестве противодействующего средства против развала армии намечалась... посылка государственно мыслящих делегатов из состава думы и совета рабочих и солдатских депутатов на фронт для убеждения...

На всех телеграмма произвела одинаковое впечатление.

Ставка выпустила из своих рук управление армией. Между тем, грозный окрик верховного командования, поддержанный сохранившей в первые две недели дисциплину и повиновение армией, быть может, мог поставить на место переоценивавший свое значение совет, не допустить «демократизации» армии и оказать соответственное давление на весь ход политических событий, не нося характера ни контрреволюции, ни военной диктатуры. Лойяльность командного состава и полное отсутствие с его стороны активного противодействия разрушительной политике Петрограда превзошли все ожидания революционной демократии.

Корниловское выступление запоздало...

Мы составили сообща ответную телеграмму, предлагая решительные меры против чужого вмешательства в военное управление.

18 марта я получил приказание немедленно отправиться в Петроград к военному министру. Быстро собравшись, я выехал в ту же ночь и, пользуясь сложной ком-

бинацией повозок, автомобилей и железных дорог, на 6 день прибыл в столицу.

По пути, проезжая через штабы Лечицкого, Каледина, Брусилова, встречая много лиц военных и причастных к армии, я слышал все одни и те же горькие жалобы, все одну и ту же просьбу:

— Скажите им, что они губят армию...

Телеграмма не давала никакого намека на цель моего вызова.

Полная, волнующая неизвестность, всевозможные догадки и предположения.

Только в Киеве слова пробежавшего мимо газетчика поразили меня своей полной неожиданностью:

«Последние новости... Назначение генерала Деникина начальником штаба верховного главнокомандующего»...

3. Впечатление от Петрограда в конце марта 1917 года

Перед своим отречением император подписал два указа: о назначении председателем совета министров князя Львова и верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. «В связи с общим отношением к династии Романовых», как говорили петроградские официозы, а в действительности, из опасения совета рабочих и солдатских депутатов попыток военного переворота, великому князю Николаю Николаевичу 9 марта было сообщено Временным правительством о нежелательности его оставления в должности верховного главнокомандующего.

Министр-председатель князь Львов писал: «Создавшееся положение делает неизбежным оставление вами этого поста. Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых каких-либо государственных должностей. Временное правительство не считает себя вправе оставаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым могло бы привести к самым серьезным осложнениям. Временное правительство убеждено, что вы, во имя родины, пойдете навстречу требованиям положения и сложите с себя еще до приезда вашего в ставку звание верховного главнокомандующего».

Письмо это застало великого князя уже в ставке, и он, глубоко обиженный, немедленно сдал командование генералу Алексееву, ответив правительству: «Рад вновь

доказать мою любовь к родине, в чем Россия до сих пор не сомневалась»...

Возник огромной важности вопрос о заместителе... Ставка волновалась, ходили всевозможные слухи, но ко дню моего проезда через Могилев ничего определенного не было еще известно.

23 я явился к военному министру Гучкову, с которым раньше никогда не приходилось встречаться.

От него я узнал, что правительство решило назначить верховным главнокомандующим генерала М. В. Алексеева. Вначале вышло разногласие: Родзянко и другие были против него. Родзянко предлагал Брусилова... Теперь окончательно решили вопрос в пользу Алексеева. Но, считая его человеком мягкого характера, правительство сочло необходимым подпереть верховного главнокомандующего боевым генералом в роли начальника штаба. Остановились на мне, с тем, чтобы, пока я не войду в курс работы, временно оставался в должности начальника штаба генерал Клембовский, бывший тогда помощником Алексеева.

Несколько подготовленный к такому предложению отделом «вести и слухи» киевской газетки, я все же был и взволнован, и несколько даже подавлен теми широчайшими перспективами работы, которые открылись так неожиданно, и той огромной нравственной ответственностью, которая была сопряжена с назначением. Долго и искренно я отказывался от него, приводя достаточно серьезные мотивы: вся служба моя прошла в строю и строевых штабах; всю войну я командовал дивизией и корпусом и к этой боевой и строевой деятельности чувствовал призвание и большое влечение; с вопросами политики, государственной обороны и администрации в таком огромном, государственном масштабе не сталкивался никогда... Назначение имело еще одну не совсем приятную сторону: как оказывается, Гучков объяснил генералу Алексееву откровенно мотивы моего назначения и от имени Временного правительства поставил вопрос об этом назначении до некоторой степени ультимативно.

Создалось большое осложнение: навязанный начальник штаба, да еще с такой не слишком приятной мотивировкой...

Но возражения мои не подействовали. Я выговорил себе, однако, право, прежде, чем принять окончательное решение, переговорить откровенно с генералом Алексеевым.

Между прочим, военный министр во время моего посещения вручил мне длинные списки от командующего генералитета до начальников дивизий включительно, предложив сделать отметки против фамилии каждого известного мне генерала об его годности или негодности к командованию. Таких листов с пометками, сделанными неизвестными мне лицами, пользовавшимися, очевидно, доверием министра, было у него несколько экземпляров. А позднее, после объезда Гучковым фронта, я видел эти списки, превратившиеся в широкие простыни с 10—12 графами.

В служебном кабинете министра я встретил своего товарища генерала Крымова и вместе с ним присутствовал при докладе помощников военного министра. Вопросы текущие, неинтересные. Ушли с Крымовым в соседнюю пустую комнату. Разговорились откровенно.

— Ради бога, Антон Иванович, не отказывайся от должности, — это совершенно необходимо.

Он поделился со мной впечатлениями.

К политическому положению Крымов отнесся крайне пессимистически:

— Ничего ровно из этого не выйдет. Разве можно при таких условиях вести дело, когда правительству шагу не дают ступить совдеп и разнузданная солдатня? Я предлагал им в два дня расчистить Петроград одной дивизией, — конечно, не без кровопролития... Ни за что: Гучков не согласен. Львов за голову хватается: «Помилуйте, это вызвало бы такие потрясения». Будет хуже. На днях уезжаю к своему корпусу: не стоит терять связи с войсками, только на них и надежда, — до сих пор корпус сохранился в полном порядке; может быть, удастся поддержать его настроение.

Четыре года я не видел Петрограда. Но теперь странное и тягостное чувство вызывала столица... начиная с разгромленной гостиницы «Астория», где я остановился, и где в вестибюле дежурил караул грубых и распущенных гвардейских матросов; улицы такие же суетливые, но грязные и переполненные новыми господами положения, в защитных шинелях, — далекими от боевой страды, углубляющими и спасающими революцию. От кого?.. Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его нигде. Министры и правители, с бледными лицами, вялыми движениями, измученные бессонными ночами и бесконечными речами в заседаниях, советах, комитетах, деле-

гациях, представителям, толпе... Искусственный подъем, бодрящая, взвинчивающая настроение, опостылевшая, вероятно, самому себе фраза и... тревога, глубокая тревога в сердце. И никакой практической работы: министры по существу не имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредоточиться и заняться текущими делами своих ведомств; и заведенная бюрократическая машина, скрипя и хромая, продолжала кое-как работать старыми частями и с новым приводом...

Рядовое офицерство, несколько растерянное и подавленное, чувствовало себя пасынками революции и никак не могло взять надлежащий тон с солдатской массой. А на верхах, в особенности среди генерального штаба, появился уже новый тип оппортуниста, слегка демагога, игравший на слабых струнках совета и нового правящего класса, старавшийся угождением инстинктам толпы стать ей близким, нужным и на фоне революционного безвременья открыть себе неограниченные возможности военно-общественной карьеры.

Следует, однако, признать, что в то время еще военная среда оказалась достаточно здоровой, ибо, невзирая на все разрушающие эксперименты, которые над ней производили, не дала пищи этим росткам. Все лица подобного типа, как, например, молодые помощники военного министра Керенского, а также генералы Брусилов, Черемисов, Бонч-Бруевич, Верховский, адмирал Максимов и др. не смогли укрепить своего влияния и положения среди офицерства.

Наконец, петроградский гражданин — в самом широком смысле этого слова — отнюдь не ликовал. Первый пыл остыл, а на смену явилась некоторая озабоченность и неуверенность.

Повторяю, что и тогда уже, в конце марта, в Петрограде чувствовалось, что слишком долго идет пасхальный перезвон, вместо того, чтобы сразу ударить в набат. Только два человека из всех, с которыми мне пришлось беседовать, не делали себе никаких иллюзий: Крымов и Корнилов.

С Корниловым я беседовал в доме военного министра, за обедом — единственное время отдыха его в течение дня. Корнилов — усталый, угрюмый и довольно пессимистически настроенный, — рассказывал много о состоянии петроградского гарнизона и своих взаимоотношениях с советом. То обаяние, которым он пользовался в армии, здесь — в нездоровой атмосфере столицы, среди демора-

лизованных войск — поблекло. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно. И если часто ему удавалось личным презрением опасности, смелостью, метким, образным словом овладеть толпой в образе воинской части, то бывали случаи и другие, когда войска не выходили из казарм для встречи своего главнокомандующего, подымали свист, срывали георгиевский флажок с его автомобиля (финляндский гвардейский полк).

Общее политическое положение Корнилов определял так же, как и Крымов: отсутствие власти у правительства и неизбежность жестокой расчистки Петрограда. В одном они расходились: Корнилов упрямо надеялся еще, что ему удастся подчинить своему влиянию большую часть Петроградского гарнизона, — надежда, как известно, не сбывшаяся.

* * *

Ген. А. Лукомский

Из воспоминаний

Первые месяцы революции

25 февраля (10 марта) 1917 г. была получена из Петрограда телеграмма от военного министра генерала Беляева, что на заводах в Петрограде объявлена забастовка и что среди рабочих на почве недостатка в столице продуктов начинаются беспорядки.

В телеграмме добавлено было, что меры к прекращению беспорядков приняты и что ничего серьезного нет.

В тот же день была получена вторая телеграмма от генерала Беляева, в которой сообщалось, что рабочие на улицах поют революционные песни, выкидывают красные флаги и что движение разрастается. Заканчивалась телеграмма указанием, что к 26 февраля (11 марта) беспорядки будут прекращены.

26 февраля (11 марта) генерал Беляев и главный начальник Петроградского военного округа генерал Хабалов уже доносили, что некоторые из войсковых частей, вызванных для прекращения беспорядков, отказываются употреблять оружие против толпы и переходят на сторону бунтующих рабочих и черни, которая начинает присоединяться к рабочим.

Генерал Беляев продолжал успокаивать, сообщая, что все меры для прекращения беспорядков приняты и что он уверен, что они будут подавлены.

Генерал Хабалов сообщал более тревожные данные и просил о присылке подкреплений, указывая на ненадежность петроградского гарнизона.

Председатель Государственной думы М. В. Родзянко прислал очень тревожную телеграмму, указывая, что начинаются в войсках аресты офицеров, что войска переходят на сторону рабочих и черни, что положение крайне серьезно и что необходима присылка в Петроград надежных частей.

Генерал Алексеев, после доклада государю императору, послал телеграммы главнокомандующим северного и западного фронтов с указанием немедленно приготовить

для отправки в Петроград по одной бригаде пехоты с артиллерией и по одной бригаде конницы.

Было указано во главе отправляемых бригад поставить энергичных генералов.

26 февраля (11 марта) вечером и утром 27 февраля (12 марта) были получены телеграммы от председателя Государственной думы на имя государя императора, в которых в очень мрачных красках описывалось происходящее в Петрограде и указывалось, что единственный способ прервать революцию и водворить порядок — это немедленно уволить в отставку всех министров, объявить манифестом, что кабинет министров будет ответствен перед Государственной думой, и поручить сформирование нового кабинета министров какому-либо лицу, пользующемуся доверием общественного мнения.

Генерал Алексеев доложил эти телеграммы государю, который приказал вызвать генерал-адъютанта Н. И. Иванова и поручить ему отправиться в Петроград и принять руководство подавлением мятежа.

Приказано было с генералом Ивановым послать какую-нибудь надежную часть.

Генерал Алексеев вызвал генерала Иванова, передал ему приказание государя и сказал, что вместе с ним из Могилева будет отправлен георгиевский батальон.

Насколько еще не придавалось серьезного значения происходящему в Петрограде, показывает, что с отправкой войск с северного и западного фронтов не торопились, а было приказано лишь «подготовить» войска к отправке.

Что касается генерала Иванова, то и он, по-видимому, считал, что все закончится скоро и мирно, так как поручил своему адъютанту купить в Могилеве провизию, которую собирался отвезти своим знакомым в Петроград.

27 февраля (12 марта), около двенадцати часов, генерала Алексеева вызвал к прямому проводу великий князь Михаил Александрович.

Великий князь сообщил генералу Алексееву те же данные, которые были изложены в телеграммах председателя Государственной думы, и просил начальника штаба верховного главнокомандующего немедленно доложить государю, что и он считает единственным выходом из создавшегося положения — срочно распустить нынешний состав совета министров, объявить о согласии создать ответственное перед Государственной думой правительство и поручить сформировать новый кабинет министров

или председателю всероссийского земского союза князю Львову, или председателю Государственной думы Родзянко.

Генерал Алексеев пошел с докладом к государю императору.

Государь выслушал и сказал начальнику штаба, чтобы он передал великому князю, что государь его благодарит за совет, но что он сам знает, как надо поступить.

Вслед за этим была получена новая телеграмма — от председателя совета министров.

Князь Голицын, указывая, что события принимают катастрофический оборот, умолял государя немедленно уволить в отставку весь состав министров. Он указывал, что вообще существующий состав министров теперь оставаться у власти не может, а нахождение в его составе Протопопова вызывает общее негодование и возмущение; что он считает единственно возможным спасти положение и даже спасти династию — только тем, что государь немедленно пойдет на уступки общественному мнению и поручит составить новый кабинет министров, ответственный перед законодательными палатами, или князю Львову или Родзянко.

Генерал Алексеев хотел эту телеграмму послать с офицером для передачи ее государю через дежурного флигель-адъютанта.

Но я сказал генералу Алексееву, что положение слишком серьезно и надо ему идти самому; что, по моему мнению, мы здесь не отдаем себе достаточного отчета в том, что делается в Петрограде; что, по-видимому, единственный выход — это поступить так, как рекомендуют Родзянко, великий князь и князь Голицын; что он, генерал Алексеев, должен уговорить государя.

Генерал Алексеев пошел.

Вернувшись минут через десять, генерал Алексеев сказал, что государь остался очень недоволен содержанием телеграммы князя Голицына и сказал, что сам составит ответ.

— Но вы пробовали уговорить государя согласиться на просьбу председателя совета министров? Вы сказали, что и вы разделяете ту же точку зрения?

— Государь со мной просто не хотел и говорить. Я чувствую себя совсем плохо и сейчас прилягу. Если государь пришлет какой-нибудь ответ, — сейчас же придите мне сказать.

Действительно, у генерала Алексеева температура была более 39 градусов.

Часа через два ко мне в кабинет прибежал дежурный офицер и сказал, что в наше помещение идет государь.

Я пошел навстречу.

Спускаясь с лестницы, я увидел государя уже на первой площадке.

Его величество спросил меня:

— Где генерал Алексеев?

— Он у себя в комнате; чувствует себя плохо и прилег. Прошу вас, ваше императорское величество, пройти в ваш кабинет, а я сейчас позову генерала Алексеева.

— Нет, не надо. Сейчас же передайте генералу Алексееву эту телеграмму и скажите, что я прошу ее немедленно передать по прямому проводу. При этом скажите, что это мое окончательное решение, которое я не изменю, а поэтому бесполезно мне докладывать еще что-либо по этому вопросу.

Передав мне, как теперь помню, сложенный пополам синий телеграфный бланк, государь ушел.

Я понес телеграмму начальнику штаба. Телеграмма была написана карандашом собственноручно государем и адресована председателю совета министров.

В телеграмме было сказано, что государь при создавшейся обстановке не допускает возможности производить какие-либо перемены в составе совета министров, а лишь требует принятия самых решительных мер для подавления революционного движения и бунта среди некоторых войсковых частей петроградского гарнизона.

Затем государь указывает, что он предоставляет временно председателю совета министров диктаторские права по управлению в империи вне района, подчиненного верховному главнокомандующему, а что, кроме того, в Петроград для подавления восстания и установления порядка командируется с диктаторскими полномочиями генерал-адъютант Иванов.

Получилось в Петрограде два диктатора.

Я вновь просил генерала Алексеева идти к государю и умолять изменить решение; указать, что согласиться на просьбу, изложенную в трех аналогичных телеграммах, необходимо.

После некоторых колебаний начальник штаба пошел к государю.

Вернувшись, сказал, что государь решения не меняет.

Телеграмма была послана.

Потом в ставке говорили, что после получения телеграммы от председателя совета министров государь больше часа говорил по телефону.

Особый телефон соединял Могилев с Царским Селом и с Петроградом.

Так как председателю совета министров государем императором была послана телеграмма, то все были уверены, что государь говорил с императрицей, бывшей в это время в Царском Селе.

До вечера из Петрограда было получено еще несколько телеграмм, указывавших, что положение становится все более и более серьезным.

Главнокомандующему северным фронтом было послано приказание немедленно по подготовке частей, предназначаемых к отправлению в Петроград, их послать по назначению.

Часов в 9 вечера, когда я сидел в своем кабинете, кто-то ко мне постучался, и затем вошел дворцовый комендант генерал Воейков.

Дворцовый комендант сказал мне, что государь приказал немедленно подать литерные поезда и доложить, когда они будут готовы; что государь хочет сейчас же, как будут готовы поезда, ехать в Царское Село; причем он хочет выехать из Могилева не позже 11 часов вечера.

Я ответил, что подать поезда к 11 часам вечера можно, но отправить их раньше 6 часов утра невозможно по техническим условиям: надо приготовить свободный пропуск по всему пути и всюду разослать телеграммы.

Затем я сказал генералу Воейкову, что решение государя ехать в Царское Село может повести к катастрофическим последствиям, что, по моему мнению, государю необходимо оставаться в Могилеве; что связь между штабом и государем будет потеряна, если произойдет задержка в пути; что мы ничего определенного не знаем, что делается в Петрограде и Царском Селе, и что ехать государю в Царское Село опасно.

Генерал Воейков мне ответил, что принятого решения государь не изменит, и просил срочно отдать необходимые распоряжения.

Я дал по телефону необходимые указания начальнику военных сообщений и пошел к генералу Алексееву, который уже лег спать.

Разбудив его, я опять стал настаивать, чтобы он немедленно пошел к государю и отговорил его от поездки в Царское Село.

Я сказал, что если государь не желает идти ни на какие уступки, то я понял бы, если б он решил немедленно ехать в особую армию (в которую входили все гвардейские части), на которую можно вполне положиться; но ехать в Царское Село — это может закончиться катастрофой.

Генерал Алексеев оделся и пошел к государю.

Он пробыл у государя довольно долго и, вернувшись, сказал, что его величество страшно беспокоится за императрицу и за детей и решил ехать в Царское Село.

В первом часу ночи государь проехал в поезд, который отошел в 6 часов утра 28 февраля (13 марта).

Утром 28 февраля (13 марта) была получена телеграмма от председателя Государственной думы, в которой сообщалось, что революция в Петрограде в полном разгаре, что все правительственные органы перестали функционировать, что министры толпой арестовываются, что чернь начинает завладевать положением и что комитет Государственной думы, дабы предотвратить истребление офицеров и администрации и успокоить разгоревшиеся страсти, решил принять правительственные функции на себя; во главе комитета остается он — председатель Государственной думы.

С этого момента комитет Государственной думы принял на себя, так сказать, управление революционным движением.

Но, параллельно с комитетом Государственной думы, образовался в Петрограде «совет рабочих и солдатских депутатов», который фактически влиял на решения этого комитета.

Поезд государя дошел до станции «Дно», но дальше его не пропустили — под предлогом, что испорчен мост.

Государь хотел поехать через Бологое по Николаевской железной дороге, но не пустили и туда.

Создалось ужасное положение: связь ставки с государем потеряна, а государя явно не желают, по указанию из Петрограда, пропускать в Царское Село.

Наконец, государь решил ехать в Псков.

В Псков государь прибыл к вечеру 1 (14) марта.

Что, собственно, побудило государя направиться в Псков, где находился штаб главнокомандующего северного фронта генерала Рузского, а не вернуться в ставку в Могилев?

Объясняют это тем, что в бытность в Могилеве при наличии революции он не чувствовал твердой опоры в

своем начальнике штаба генерале Алексееве и решил ехать к армии на северный фронт, где надеялся найти более твердую опору в лице генерала Рузского.

Возможно, конечно, и это, но возможно и то, что государь, стремясь скорей соединиться со своей семьей, хотел оставаться временно где-либо поблизости к Царскому Селу, и таким пунктом, где можно было иметь хорошую связь со ставкой и с Царским Селом, был именно Псков, где находился штаб северного фронта.

Между тем, отправившийся из Могилева в Петроград с георгиевским батальоном генерал Иванов благополучно 28 февраля (13 марта) прибыл в Царское Село. Поезд его никем задержан не был. По прибытии в Царское Село генерал Иванов, вместо того, чтобы сейчас же высадить батальон и начать действовать решительно, приказал батальону не высаживаться, а послал за начальником гарнизона и комендантом города.

В местных частях войск уже начиналось брожение и образовались комитеты; но серьезных выступлений еще не было. Кроме того, некоторые части, как конвой его величества, так и собственный его величества пехотный полк, были еще в массе своей верными присяге.

Слух о прибытии эшелона войск с фронта вызвал в революционно настроенных частях смущение: никто не знал, что направляется еще за этим эшелоном.

Но скоро стало известным, что ничего, кроме этого единственного эшелона, с фронта не ожидается.

Оставление георгиевского батальона в поезде и нерешительные действия генерала Иванова сразу изменили картину.

К вокзалу стали прибывать запасные части, квартировавшие в Царском Селе, и начали занимать выходы с вокзальной площади и окружать поезд с прибывшим эшелоном.

Местные власти были совершенно растеряны и докладывали генералу Иванову, что они надеются поддержать порядок в Царском Селе; что высадку и какие-либо действия георгиевского батальона они считают опасными.

Если батальон высадится, то произойдет неизбежное столкновение с местными войсками, порядок будет нарушен, и царской семье будет угрожать опасность. Советовали генералу Иванову отправиться обратно.

С подобными же советами и указаниями к генералу Иванову стали прибывать различные лица и из Петрограда.

После некоторых колебаний генерал Иванов согласился, чтобы его эшелон отправили на станцию Дно.

Таким образом, из командировки генерала Иванова в Царское Село и Петроград с диктаторскими полномочиями ничего, кроме скандала, не получилось.

После отъезда государя из ставки, в течение 28 февраля (13 марта) и 1 (14) марта события в Петрограде развертывались с чрезвычайной быстротой.

В ставке мы получали из Петрограда одну телеграмму за другой, которые рисовали полный разгар революционного движения, переход почти всех войск на сторону революционеров, убийства офицеров и чинов полиции, бунт и убийства офицеров в Балтийском флоте, аресты всех мало-мальски видных членов администрации.

Волнения начинались в Москве и других крупных центрах, где были расположены запасные батальоны.

Пехотные части, отправленные с северного фронта в Петроград, в Луге были встречены делегатами от местных запасных частей, стали сдавать свои винтовки и объявили, что против своих драться не будут.

От председателя Государственной думы получались телеграммы, в которых указывалось, что против государя в Петрограде страшное возбуждение и что теперь уже совершенно недостаточно произвести смену министерства и образовать новое, ответственное перед Государственной думой, а ставится вполне определенный вопрос об отречении государя от престола; что это единственный выход из положения, так как в противном случае анархия охватит всю страну, и неизбежен конец войны с Германией.

В частности, относительно Петрограда указывалось, что только отречение государя от престола может предотвратить почти поголовное избиение офицеров гарнизона и во флоте и разрушение центральных административных аппаратов.

М. В. Родзянко телеграфировал, что посылка войск с фронта ни к каким результатам не приведет, так как войска будут переходить на сторону революционных масс и анархия будет только увеличиваться.

Положение было действительно трудное.

С самого начала, главным образом, вследствие успокоительных телеграмм, получавшихся от военного министра генерала Беляева, не были приняты решительные и достаточные меры для подавления революционного движния, а к 1 (14) марта пожар разгорелся настолько сильно, что потушить его было нелегко.

Выход, конечно, был.

Это немедленный отъезд государя в район особой армии и отправка в Петроград и Москву сильных и вполне надежных отрядов.

Революционное движение и в этот период потушить было еще возможно.

Но какой ценой?

Представлялось совершенно неоспоримым, что посылка небольших частей из районов северного и западного фронтов никакого результата не даст.

Для того же, чтобы сорганизовать вполне достаточные и надежные отряды, требовалось дней 10—12 (пришлось бы некоторые дивизии снимать с фронта). За этот же период весь тыл был бы охвачен революцией, и, наверно, начались бы беспорядки и в некоторых войсковых частях на фронте.

Получалась уверенность, что пришлось бы вести борьбу и на фронте, и с тылом. А это было совершенно невозможно.

Следовательно, решение подавить революцию силою оружия, залив кровью Петроград и Москву, не только грозило прекращением на фронте борьбы с врагом, а было бы единственно возможным только именно с прекращением борьбы, с заключением позорного сепаратного мира.

Последнее же было так ужасно, что представлялось неизбежным сделать все возможное для мирного прекращения революции — лишь бы борьба с врагом на фронте не прекращалась.

Кроме того, было совершенно ясно, что если б государь решил, во что бы то ни стало, побороть революцию силою оружия и это привело к прекращению борьбы с Германией и Австро-Венгрией, то не только наши союзники никогда этого не простили бы России, но и общественное мнение России этого не простило бы государю.

Это могло бы временно приостановить революцию, но она, конечно, вспыхнула бы с новой силой в самое ближайшее время, — вероятно, в период демобилизации армии, — и смела бы не только правительство, но и династию.

Утром 1 (14) марта от председателя Государственной думы получена была телеграмма, что в Псков, куда выехал со станции Дно государь император, отправляется депутация от имени комитета Государственной думы в составе А. И. Гучкова и В. В. Шульгина, что им поручено осветить государю всю обстановку и высказать, что

единственным решением для прекращения революции и возможности продолжать войну является отречение государя от престола, передача его наследнику цесаревичу и назначение регентом великого князя Михаила Александровича.

Главнокомандующий северным фронтом генерал Рузский, с которым об этом уже переговорил М. В. Родзянко, обратился к начальнику штаба верховного главнокомандующего с просьбой высказать по этому вопросу свое заключение и дать ему данные — как к этому вопросу относятся все главнокомандующие фронтов.

Генерал Рузский заявил, что он должен знать всю обстановку к приезду во Псков государя императора.

Он сказал, что государю, вероятно, будет недостаточно выслушать мнение только его, генерала Рузского; хотя он лично и думает, что вряд ли есть какой-либо иной выход из создавшегося положения, кроме того, который будет предложен государю выехавшей из Петрограда депутацией, но ему необходимо точно знать, как на это смотрит начальник штаба верховного главнокомандующего и другие главнокомандующие фронтов.

Генерал Рузский закончил заявлением, что так как у государя утеряна в данное время связь с армией, то начальник его штаба, на основании Положения о полевом управлении войск, фактически вступил в исполнение обязанностей верховного главнокомандующего и поэтому должен, с точки зрения боевой, дать оценку происходящим событиям.

Генерал Алексеев поручил мне составить телеграмму главнокомандующим фронтов с подробным изложением всего происходящего в Петрограде, с указанием о том, что ставится вопрос об отречении государя от престола в пользу наследника цесаревича с назначением регентом великого князя Михаила Александровича, и с просьбой, чтобы главнокомандующие срочно сообщили по последнему вопросу свое мнение.

Телеграмма была подписана генералом Алексеевым и по прямому проводу передана всем главнокомандующим.

Через несколько времени меня вызвал к прямому проводу главнокомандующий западного фронта генерал Эверт и сказал, что он свое заключение даст лишь после того, как выскажутся генералы Рузский и Брусилов.

Так как мнение генерала Рузского о том, что другого выхода, по-видимому, нет, кроме отречения от престола государя императора, было известно, то это мнение

главнокомандующего северного фронта я и сообщил генералу Эверту, сказав, что заключение генерала Брусилова будет ему сообщено.

Вслед за этим из штаба юго-западного фронта передали телеграмму генерала Брусилова, который сообщил, что, по его мнению, обстановка указывает на необходимость государю императору отречься от престола.

Мнение генерала Брусилова было передано генералу Эверту, и он ответил, что, как ему ни тяжело это сказать, но и он принужден присоединиться к мнениям, высказанным генералами Рузским и Брусиловым.

Затем была получена из Тифлиса копия телеграммы великого князя Николая Николаевича, адресованной на имя государя.

Великий князь докладывал государю, что, как это ни ответственно перед Богом и родиной, но он вынужден признать, что единственным выходом для спасения России и династии и для возможности продолжать войну является отречение государя от престола в пользу наследника.

Главнокомандующий румынского фронта генерал Сахаров долго не отвечал на посланную ему телеграмму и требовал, чтобы ему были сообщены заключения всех главнокомандующих.

После посланных ему мнений главнокомандующих он прислал свое заключение.

В первой части своей телеграммы, отзываясь очень резко об образовавшемся комитете Государственной думы, называя его шайкой разбойников, захвативших в свои руки власть, он указывает, что их надо просто разогнать.

Во второй части телеграммы он говорит, что то, что сказал, подсказывает ему сердце, но разум принужден признать необходимость отречения от престола.

Все заключения главнокомандующих были переданы генералу Рузскому, причем и генерал Алексеев высказался за отречение государя в пользу наследника.

После приезда государя в Псков генерал Рузский доложил ему все телеграммы.

Поздно вечером 1 (14 марта) генерал Рузский прислал телеграмму, что государь приказал составить проект манифеста об отречении от престола в пользу наследника с назначением великого князя Михаила Александровича регентом.

Государь приказал проект составленного манифеста передать по прямому проводу генералу Рузскому.

О полученном распоряжении я доложил генералу Алексееву, и он поручил мне, совместно с начальником дипломатической части в ставке г. Базили, срочно составить проект манифеста.

Я вызвал господина Базили, и мы с ним, вооружившись Сводом Законов Российской Империи, приступили к составлению проекта манифеста.

Затем составленный проект был доложен генералу Алексееву и передан по прямому проводу генералу Рузскому.

По приказанию генерала Алексеева, после передачи проекта манифеста в Псков, об этом было сообщено в Петроград председателю Государственной думы.

От М. В. Родзянко после этого была получена довольно неясная телеграмма, заставившая думать, что и эта уступка со стороны государя может оказаться недостаточной.

2 (15) марта, после разговора с А. И. Гучковым и В. В. Шульгиным, государь хотел подписать манифест об отречении от престола в пользу наследника.

Но, как мне впоследствии передавал генерал Рузский, в последнюю минуту, уже взяв для подписи перо, государь спросил, обращаясь к Гучкову, можно ли будет ему жить в Крыму.

Гучков ответил, что это невозможно; что государю нужно будет немедленно уехать за границу.

«А могу ли я тогда взять с собою наследника?» — спросил государь.

Гучков ответил, что и этого нельзя; что новый государь при регенте должен оставаться в России.

Государь тогда сказал, что ради пользы родины он готов на какие угодно жертвы, но расстаться с сыном — это выше его сил: что на это он согласиться не может.

После этого государь решил отречься от престола и за себя, и за наследника, а престол передать своему брату Михаилу Александровичу.

На этом было решено, и переделанный манифест был государем подписан.

Перед отречением от престола государь подписал указ об увольнении в отставку прежнего состава совета министров и о назначении председателем совета министров князя Львова.

Приказом по армии и флоту и указом правительствующему сенату верховным главнокомандующим государь назначил великого князя Николая Николаевича.

Все это с курьером было послано в ставку для немедленного распубликования.

Получив телеграмму о том, что государь отрекся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, в ставке стало ясно, что на этом дело не кончится.

Во-первых, по основным законам о престолонаследии, царь мог отречься только за себя; за своего наследника он отречься от престола не мог.

Во-вторых, приходящие отрывочные и недостаточно ясные телеграммы указывали, что отречение государя вряд ли удовлетворит довлеющий над комитетом Государственной думы совет рабочих и солдатских депутатов.

В-третьих, было крайне сомнительным, чтобы Михаил Александрович, по свойствам своего характера, согласился в такую минуту стать императором.

И действительно, из Петрограда была получена телеграмма, что великий князь Михаил Александрович со своей стороны отрекается от престола.

Председатель Государственной думы прислал телеграмму, что надо задержать приказ, объявляющий о вступлении на престол великого князя Михаила Александровича, чтобы не произошло путаницы.

На фронты были посланы подробные разъяснения происходивших событий.

3 (16) марта государь вернулся из Пскова в Могилев. Настроение в ставке было подавленное.

Никто не верил, что новое Временное правительство, формируемое в Петрограде, с князем Львовым во главе, окажется на должной высоте.

Чувствовалось, что пройден только первый этап революции; что Государственная дума, до некоторой степени руководившая ходом событий до отречения государя от престола и по почину которой было образовано Временное правительство, начинает отстраняться, затмеваться новым органом, создавшимся в виде совета рабочих и солдатских депутатов; чувствовалось, что этот новый орган прежде всего враждебен армии и вряд ли с образованием Временного правительства откажется от желания производить дальнейшее углубление революции.

Этот совет с первых же дней революции посылал на фронт агитаторов, возбуждавших солдат против офицеров и требовавших создания во всех частях войск комитетов, которые захватили бы в свои руки власть.

Началось брожение и в войсковых частях, бывших в Могилеве.

Генералом Алексеевым были посланы телеграммы главнокомандующим фронтами с требованием срочно командировать на узловые станции надежные войсковые части, образовать при них военно-полевые суды и затем, вылавливая агитаторов из поездов, тут же предавать их военно-полевому суду.

Узнав об этом распоряжении генерала Алексеева, Временное правительство потребовало его отмены (под давлением Петроградского совета).

Желая водворить порядок в Петрограде, еще в период формирования Временного правительства председатель Государственной думы просил генерала Алексеева срочно командировать в Петроград на должность главного начальника Петроградского военного округа командира 25 армейского корпуса генерала Корнилова.

Генерал Корнилов был вызван по телеграмме и через несколько дней приехал в Петроград.

* * *

На другой день после приезда государя из Пскова, из Киева в Могилев приехала вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Императрица оставалась в Могилеве до отъезда государя в Царское Село.

Государь задерживал свой отъезд из Могилева, и это, по-видимому, нервировало Петроград, так как оттуда несколько раз запрашивали о времени, когда государь решил уехать из ставки.

Задерживался ли государь из-за желания продлить свое свидание с матерью императрицей, или просто ему трудно и больно было окончательно решиться ехать в Царское Село и стать узником Временного правительства — я не знаю; но что государь оттягивал свой отъезд — это верно.

Наконец, государь сказал генералу Алексееву, что он выезжает в Царское Село 8 (21) марта.

Об этом была послана телеграмма в Петроград, и оттуда было отвечено, что для сопровождения государя до Царского Села 8 (21) марта утром приедут несколько делегатов, командируемых от Временного правительства.

Перед своим отъездом из Могилева государь пожелал попрощаться со всеми чинами штаба.

По распоряжению генерала Алексеева, все чины штаба верховного главнокомандующего и представители конвоя были собраны в большом зале помещения дежурного генерала.

Государь вошел и, сделав общий поклон, обратился к нам с короткой речью, в которой сказал, что благо родины, необходимость предотвратить ужасы междоусобицы и гражданской войны, а также создать возможность напрячь все силы для продолжения борьбы на фронте — заставили его решиться отречься от престола в пользу своего брата великого князя Михаила Александровича; но что великий князь в свою очередь отрекся от престола.

Государь обратился к нам с призывом повиноваться Временному правительству и приложить все усилия к тому, чтобы война с Германией и Австро-Венгрией продолжалась до победного конца.

Затем, пожелав всем всего лучшего и поцеловав генерала Алексеева, государь стал всех обходить, останавливаясь и разговаривая с некоторыми.

Напряжение было очень большое; некоторые не могли сдержаться и громко рыдали. У двух произошел истерический припадок. Несколько человек, во весь рост, рухнули в обморок.

Между прочим, один старик конвоец, стоявший близко от меня, сначала как-то странно застонал, затем у него начали капать из глаз крупные слезы, а затем, вскрикнув, он, не сгибаясь в коленях, во весь свой большой рост, упал навзничь на пол.

Государь не выдержал: оборвав свой обход, поклонился и, вытирая глаза, быстро вышел из зала.

Перед отъездом из Могилева государь подписал следующее обращение к войскам:

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения за себя и за сына моего от престола Российского, власть передана Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему.

Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия.

Да поможет Бог вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными

союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы.

Кто думает теперь о мире, кто желает его, — тот изменник отечеству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников.

Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.

Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой родине. Да благословит вас господь Бог и да ведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий.

Николай»

Ставка, 8 (21) марта, 1917.

Это обращение государя было немедленно передано во все штабы фронтов для сообщения в войска.

Впоследствии, как мне говорил генерал Алексеев, его упрекали из Петрограда за то, что он позволил себе передать в войска обращение уже отрекшегося от престола императора...

После того, как государь с некоторыми лицами свиты сел в поезд, произошел совершенно ненужный и неприятный инцидент.

Господа делегаты, присланные из Петрограда, по собственному ли почину, или по полученному указанию, произвели поверку всех едущих в поезде и некоторым из них объявили, что они должны выйти из поезда и в Царское Село им ехать не разрешается.

В числе этих лиц, изгоняемых из поезда, были: министр двора граф Фредерикс, дворцовый комендант Воейков и адмирал Нилов.

Все это делалось крайне резко и просто неприлично. Эти господа объявили, что они хозяева поезда и их распоряжения должны исполняться.

Было об этом доложено государю.

Государь махнул рукой и сказал тихим голосом: «Надо исполнить их требование. Пускай теперь делают, что хотят».

Поезд ушел.

Временным правительством был обещан государю с семьей свободный выезд за границу.

К несчастью, в это время наследник и великие княж-

ны были больны корью, и всей царской семье пришлось, в качестве арестованных, остаться в Царском Селе.

Но если б даже царская семья могла выехать за границу, то крайне сомнительно, чтобы это было допущено Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов.

Это явствует из того, что, по требованию этого совета, по указанию Временного правительства, государь должен был ежедневно, при смене караулов, проходить мимо них, чтобы они видели, что он налицо, что он не сбежал.

Таким образом, государь уже с момента приезда в Царское Село находился под арестом, а в совете рабочих и солдатских депутатов уже поднимались голоса о необходимости суда над отрекшимся от престола императором.

Впоследствии, когда, вопреки обещанию Временного правительства, царскую семью отправили не за границу, а, под предлогом вывезти из Царского Села в более безопасное место, повезли в ссылку в Сибирь, — стало ясно, что России не избежать позора расправы озверелых негодяев или наемных убийц с царской семьей.

Вдовствующая императрица уехала в Киев в день, когда государь отправился в Царское Село.

Если не ошибаюсь, 10 (23) марта в Могилев приехал великий князь Николай Николаевич.

Генерал Алексеев и я поехали с докладом в поезд великого князя.

Великий князь нас принял и сказал, что он получил письмо от председателя Временного правительства, в коем князь Львов указывает, что великому князю по многим соображениям невозможно быть верховным главнокомандующим, и просит его в командование не вступать.

Вместо доклада, мне пришлось написать проект ответной телеграммы от великого князя председателю Временного правительства о том, что должности верховного главнокомандующего великий князь принимать не будет.

А между тем великий князь Николай Николаевич, пользовавшийся большой популярностью в армии, был единственный человек, который мог бы железной рукой поддержать дисциплину в армии, не допустить развала и довести войну до конца.

Но, естественно, великий князь представлялся опасным для «завоеваний революции», и недопущения его к занятию поста верховного главнокомандующего надо было ожидать.

* * *

Через несколько дней после отъезда великого князя Николая Николаевича в Могилев приехали члены нового Временного правительства.

На вокзале, кроме официально встречавших лиц от штаба верховного главнокомандующего, были представители городского самоуправления, состав образовавшегося в Могилеве совета рабочих депутатов, незначительное количество публики и чины железнодорожной стражи.

Поезд подошел.

Генерал Алексеев пошел в министерский вагон. Прошло минут десять, и по очереди стали появляться члены нового правительства и, рекомендуясь (я — такой-то, министр юстиции), обращались к толпе с речью.

Это было и непривычно, и просто смешно.

Кто-то из стоявших рядом со мной сказал: «совсем как выход на сцену царей в оперетке «Прекрасная Елена».

Верховным главнокомандующим был несколько позже назначен генерал Алексеев, а начальником штаба — генерал Деникин.

После образования Временного правительства первый острый период революции прошел, и наступил второй, более длительный — период «углубления революции».

Если он был менее бурный в тылу, то он постепенно становился все более и более бурным на фронте.

Агитация в войсках все более усиливалась.

Руководители ее, находясь в Петрограде в составе совета рабочих и солдатских депутатов, а некоторые и в составе Временного правительства, начали прилагать все усилия к тому, чтобы вытравить из армии все «старорежимные порядки», а в первую голову — воинскую дисциплину, говоря, что ее надо заменить «сознательной, революционной дисциплиной».

Как следствие этого, начали всюду образовываться комитеты, стремящиеся захватить власть в свои руки, дисциплина стала расшатываться, начались сначала единичные, а затем все более и более учащавшиеся случаи убийства офицеров и генералов.

Армия стала разваливаться.

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов выпустил и разослал по телеграфу во все армии приказ (под названием приказ № 1), который в корне подрывал

дисциплину, лишая офицерский командный состав какой-либо власти над солдатами.

В составлении этого приказа принимали участие генерального штаба генерал Потапов (назвавший себя «первым революционным генералом») и известный «сенатор» (был проведен в сенаторы Керенским) Соколов, впоследствии избитый солдатами, когда он их уговаривал слушать распоряжения Временного правительства.

Временное правительство отрицало свое участие в издании этого приказа, но попустительство было явное, так как, во-первых, этот приказ был передан в армии по прямому проводу из управления генерального штаба, а во-вторых, официальное заявление Временного правительства о том, что этот приказ от него не исходит, несмотря на настояния генерала Алексеева, появилось с значительным запозданием, и в армиях приказ № 1 был принят как распоряжение правительства и послужил первым решительным толчком к развалу.

В Петрограде в военном министерстве с первых же дней революции выделилась группа молодых офицеров генерального штаба (прозванных «младотурками»), которые, желая выделиться и выдвинуться в период революции, начали проповедовать необходимость радикальной ломки «старых, отживших и нереволюционных» отношений между офицерами и солдатами; требовали введения всюду комиссаров и комитетов, уничтожения погон и пр.

И среди более пожилых, и в генеральских чинах, накануне ярых монархистов, появилось много убежденных республиканцев. Их прозвали «мартовскими эсерами».

При военном министерстве была образована особая комиссия для пересмотра уставов и положений и для выработки новых форм отношений между военнослужащими, на замену «старорежимных».

Комиссия эта работала в тесном контакте с советом рабочих и солдатских депутатов и подобострастно прислушивалась к требованиям, оттуда исходящим.

Председателем этой комиссии был назначен генерал Поливанов, который позорным потворством демагогическим требованиям некоторых членов этой комиссии способствовал развалу армии.

Большинство этих «реорганизаторов» не понимало, что во время войны нельзя производить таких опытов с армией, и бессознательно шло на поводу у тех, которые сознательно шли на развал дисциплинированной регулярной армии.

Новый военный министр А. И. Гучков говорил, что он примет все меры к поддержанию дисциплины в армии и будет пресекать все попытки к ее развалу.

Но первые же его шаги в качестве военного министра, предпринятые с целью освежения командного состава, были неудачны.

Среди старших начальников были действительно такие, которых надо было убрать; но военный министр принялся за это дело слишком решительно и довольно неосмотрительно.

Был составлен список всех старших начальствующих лиц от командующих армиями до начальников дивизий включительно, и затем г. Гучков предложил нескольким генералам, которым он доверял, поставить против всех помещенных в списке отметки о годности и негодности.

Затем, по соглашению с генералом Алексеевым, было уволено со службы свыше 100 генералов из числа занимавших высшие командные и административные должности.

Это в свою очередь вызвало колоссальное перемещение и на более низких должностях.

В этот период такую операцию производить было рискованно.

Затем г. Гучков ходом событий был увлечен на соглашательский путь с крайними элементами, и кончилось это тем, что, увидя полную свою беспомощность и неминуемую гибель армии как регулярной силы, он отказался от поста военного министра.

Донесения, поступавшие из армий, указывали, что все постепенно разваливается.

Хуже всего было, конечно, в тыловых частях, в различных тыловых и технических командах и во вновь сформированных дивизиях, в которых был менее прочный офицерский и унтер-офицерский кадр и которые были почти исключительно пополнены из запасных батальонов.

Думать о возможности скоро начать какие-либо активные действия на фронтах было трудно.

Надо было постараться снова прибрать расшатавшиеся части к рукам.

* * *

Работать в ставке стало трудно и тяжело; чувствовалось полное бессилие задержать ход событий и остановить начавшийся развал армии.

В конце марта я обратился к генералу Алексееву с просьбой освободить меня от должности генерал-квартирмейстера и дать мне назначение в строй.

Я просил дать мне освобождавшийся XI армейский корпус. Но в этот же день от главнокомандующего юго-западным фронтом было получено представление о назначении командиром XI армейского корпуса другого генерала, и я был назначен командиром I армейского корпуса, бывшего на северном фронте.

В начале апреля я отправился к месту моего нового служения.

I армейский корпус в это время был отведен в резерв, и штаб корпуса находился в Везенберге.

С первых же дней моего командования я убедился, что придется быть не командиром корпуса, а «главноуговаривающим».

В хорошем виде еще были артиллерийские и инженерные части, в которых, вследствие меньшей убыли во время войны, было много кадровых офицеров и солдат. Дисциплина в этих частях еще держалась.

Что же касается всех трех пехотных дивизий, то они были на пути к полному развалу.

Я ежедневно получал донесения от начальников дивизий, рисовавших положение в самых мрачных красках, указывавших, что образовавшиеся в частях войск комитеты решительно во все вмешиваются; занятий части войск производить не хотели; дисциплинарную власть начальствующие лица применять не могли; комитеты стремились получить в свое распоряжение все экономические суммы частей войск.

Я ежедневно бывал то в одном, то в другом полку.

Но, кроме планомерных, намеченных мною разъездов по частям войск, мне приходилось почти ежедневно по просьбе то одного, то другого из начальников дивизий ездить в полки, в которых возникали те или иные недоразумения.

Мне с большим трудом удавалось сохранить только внешнюю дисциплину в войсках.

Корпус был расквартирован на очень широком пространстве, примыкая на запад к реке Нарове.

Близость Петрограда давала себя чувствовать. Вся выходящая в Петрограде пропагандная литература, в виде всевозможных воззваний, листков и проч., уже на следующий день по выходе была в частях войск моего корпуса.

Почти ежедневно в войсках появлялись пропагандисты, отправляемые из Петрограда.

К концу апреля, с появлением в Петрограде Ленина, пропаганда еще усилилась.

Открытая пропаганда, которую вел Ленин в Петрограде и которой потворствовало Временное правительство, делала почти невозможным борьбу против нее в войсках.

15 (28) мая я получил приказ подготовить корпус к отправке на фронт.

Сейчас же, как в войсках об этом узнали, стали ко мне поступать донесения начальников дивизий, что из полков поступают сведения о том, что солдаты, основываясь на якобы недостаточном для современного боя числе имеющихся в частях пулеметов и недостаточной подготовке к боевой работе недавно прибывших пополнений, заявляют, что раньше присылки двойного, против положенного, числа пулеметов и должной подготовки присланных пополнений они на позицию стать не могут.

Но 1 (14) июня началась посадка войск для отправки на фронт, и никаких серьезных недоразумений не произошло.

3 (16) июня я получил из ставки от начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Деникина телеграмму, в которой он мне сообщает, что приказом Временного правительства я назначен начальником штаба верховного главнокомандующего и мне надо немедленно выехать в Могилев.

Перед этим был получен приказ, что вместо генерала Алексеева верховным главнокомандующим назначен генерал Брусилов.

4 (17) июня приехал мой заместитель, и я отправился в Могилев.

Явившись к новому верховному главнокомандующему, я в день моего приезда в Могилев принял от генерала Деникина должность начальника штаба. Генерал Деникин был назначен главнокомандующим западного фронта.

Настроение в ставке было тяжелое.

Новый верховный главнокомандующий генерал Брусилов принял сразу более чем недостойный заискивающий тон по отношению к Могилевскому совету рабочих и солдатских депутатов.

Этот совет при генерале Алексееве действовал осто-

рожно и не решался открыто предъявлять каких-либо требований к ставке.

Поведение генерала Брусилова сразу придало смелости членам совета, и к верховному главнокомандующему от него поступили определенные требования принять меры к уничтожению «контрреволюционного гнезда» в ставке.

Генерал Брусилов несколько раз собирал у себя членов этого совета, беседовал с ними и заявил, что он сам не допустит в ставке проявления контрреволюционного движения и что если у совета имеются какие-либо конкретные данные, то он просит их ему дать. На основании же голословных обвинений он никого из служащих в ставке удалять не может.

Те обещали представить материал, вполне изобличающий чинов ставки в контрреволюционных намерениях и поступках, но так ничего и не представили.

Приехавшему в ставку новому военному министру Керенскому была представлена полная картина того развала, который происходит в армии.

Хотя он и соглашался с необходимостью принять меры для восстановления дисциплины, но категорически высказался против восстановления смертной казни, отмененной в начале революции.

Все еще Временному правительству, находящемуся под влиянием Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, мерещилась контрреволюция, и оно боялось вернуть командному составу прежнюю власть.

Стремление иметь всюду свой глаз и свое ухо выразилось в насаждении всюду политических комиссаров.

Выбор этих комиссаров часто был очень неудачен.

Помню, как Керенский представлял генералу Брусилову, если не ошибаюсь, капитана Калинина (или Калнина), назначенного комиссаром на западный фронт.

Генерал Брусилов, поздоровавшись с новым комиссаром, спросил его, где он начал службу.

— В такой-то конной батарее.

— Долго ли вы в ней служили?

— Немного больше года.

— А после конной батареи где протекала ваша служба?

Довольно продолжительное молчание, а затем ответ: нигде.

— То есть как так нигде? я не понимаю. Где же вы были после конной батареи?

— Я был обвинен в политическом преступлении и находился в Сибири в тюрьме, а затем в ссылке.

— А! но как же вы теперь капитан?

— После революции я, как бывший политический, был из ссылки возвращен и, в сравнение со сверстниками, произведен в капитаны.

Генерал Брусилов ничего не нашелся сказать.

И вот таких «опытных» политических деятелей Временное правительство назначало комиссарами!

Что они могли делать иное, как не продолжать развал армии?

Отношение членов Временного правительства к явно вредным и преступным элементам видно хотя бы из следующих примеров.

Как-то мне доложили, что в поезде, прибывшем на станцию Могилев из Петрограда, едет какой-то прапорщик, который всю дорогу вел самую возмутительную пропаганду и раздавал в поезде большевистскую литературу, и что этот прапорщик едет на юго-западный фронт.

Я по телефону приказал задержать поезд, арестовать этого прапорщика, произвести дознание и обыск в купе, в котором он находился.

Дознание подтвердило все, что было мне сообщено, а арестованный прапорщик оказался Крыленко, впоследствии первый верховный главнокомандующий (главковерх) у большевиков.

Он вез целый тюк листовок самого возмутительного содержания.

При обыске у Крыленко оказался «мандат» от Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

Я доложил Брусилову, и было решено Крыленко отправить в штаб юго-западного фронта (там находилась его часть), с предписанием немедленно предать его суду.

В Петроград же было по телеграфу сообщено об этом аресте, чтобы обратить внимание на деятельность совета рабочих и солдатских депутатов.

Результат получился совершенно неожиданный.

Военное министерство потребовало присылки Крыленко в Петроград; там же, вероятно, под давлением совета рабочих и солдатских депутатов, без всякого суда его выпустили на свободу.

Другой случай касается некоего штабс-капитана Муравьева, впоследствии командовавшего у большевиков

армией, взявшего Киев и зверски расправившегося там с офицерами.

Этот Муравьев явился в ставку с письмом из военного министерства, в котором просилось отнестись благосклонно к проекту этого господина.

Явившись ко мне, Муравьев доложил, что вследствие развала на фронте теперь начинают там формировать особые ударные части, которые своим примером должны будут увлечь других и, конечно, при будущем наступлении сыграют крупную роль; что и в тылу формируются женские ударные части; но что все это недостаточно, что он решил ходатайствовать об утверждении устава особого общества, которому было бы предоставлено право немедленно приступить к широкому формированию ударных батальонов как на фронте, так и в тылу.

Помимо того, что явно каторжный вид этого Муравьева не внушал никакого доверия, я принципиально не считал правильным допустить какую-то организацию из неизвестных лиц к такой работе.

Кроме того, я считал, что на фронте есть только определенные начальники, и существование, параллельно с ними, какой-то самостоятельной организации невозможно.

Я это высказал Муравьеву.

Он просил разрешения представиться генералу Брусилову, о чем, как он сказал, просит и военный министр.

Я сказал, что доложу главнокомандующему.

Генерал Брусилов решил принять Муравьева, но согласился с моим мнением и обещал определенно отказать в его просьбе.

На другой день Муравьев вновь ко мне явился и сказал, что генерал Брусилов дал свое согласие на утверждение устава и даже подписал какое-то удостоверение на имя Муравьева.

Я пошел к генералу Брусилову. Оказалось, что он лишь сказал Муравьеву, что он не будет возражать против организации формирования ударных частей в тылу.

Я стал доказывать, что и это невозможно, что они нам наформируют такие части, которые окончательно погубят фронт.

Генерал Брусилов, в конце концов, со мной согласился и приказал в этом духе написать в Петроград.

В Петроград было написано, но переписка по этому вопросу тянулась еще долго, и Муравьеву военным ми-

нистерством и впоследствии поручались различные работы.

Много пришлось возиться с вопросом о формировании украинских частей.

Приезжавший в ставку Петлюра добивался получения разрешения формировать отдельную Украинскую армию.

В этом отношении Временное правительство поддержало ставку, и было разрешено только постепенно украинизировать несколько корпусов на юго-западном и румынском фронтах, отнюдь не перемещая офицеров.

Генерал Брусилов отлично понимал, что политика, которую проводило Временное правительство по отношению к армии, ее губила.

Но неправильный тон, им принятый с самого начала, не давал ему возможности резко изменить линию своего поведения.

Он постепенно, путем разговоров с наезжавшим в ставку Керенским и путем подачи записок, старался добиться восстановления прежней власти командного персонала.

* * *

Между тем, союзники настаивали на начале активных действий на нашем фронте.

С другой стороны, теплилась надежда, что, может быть, начало успешных боев изменит психологию массы и возможно будет начальникам вновь подобрать вырванные из их рук вожжи.

На успех надеялись вследствие сосредоточения на фронте значительной артиллерии и считали, что, может быть, при поддержке могущественного артиллерийского огня части пойдут вперед, а победа даст и все остальное.

Наступление было намечено на всех фронтах.

Наиболее сильный удар намечался на юго-западном фронте.

Дабы подбодрить войска и влить в них «революционный порыв», г. Керенский отправился на юго-западный фронт.

После сильной артиллерийской подготовки, 18 июня (1 июля) — началось наступление, и первоначально успех был.

Но уже через несколько дней выяснилось, что многие части драться не хотят, начались самовольные уходы с позиций, неисполнение боевых приказов.

Частичный успех на фронте VIII армии делу не помог.

Прорыв фронта германцами несколько северней участка, где нами наносился главный удар, повлек за собой паническое отступление почти по всему юго-западному фронту.

Только применением суровых мер и массовыми расстрелами дезертиров удалось остановить, в конце концов, войска. Но при отступлении были потеряны большие артиллерийские склады и значительное количество артиллерии.

Наступление на западном фронте не дало никаких результатов: войска сначала заняли разрушенные артиллерийским огнем германские позиции, а затем отошли в исходное положение.

На северном фронте все, в сущности говоря, ограничилось артиллерийским огнем.

На румынском фронте сначала был достигнут незначительный тактический успех, но затем мы перешли к обороне.

После неудачного июньского наступления и Временное правительство поняло, что для поднятия дисциплины и восстановления безопасности армии нужно принять решительные меры и вернуть престиж и власть командному составу.

Комиссары, бывшие на фронте, с своей стороны присоединили свои голоса к настойчивым требованиям командного состава.

Временное правительство убедилось, что одними уговорами ничего не поделаешь.

Первым решительным в этом отношении шагом было назначение на пост главнокомандующего юго-западного фронта командующего VIII армией генерала Корнилова, проводившего взгляд, что только железная дисциплина может спасти армию.

Г. Керенский на словах соглашался с необходимостью принять решительные и суровые меры для спасения армии, но в действительности колебался и оттягивал разрешение этого вопроса.

Во всяком случае Временное правительство не считало возможным совершенно уничтожить комитеты и упразднить комиссаров.

Г. Савинков, который был на стороне более решительных действий для восстановления порядка в армии, также был лишь за ограничение круга деятельности комите-

тов, но не за их упразднение. Комиссаров он считал нужным сохранить.

* * *

В Петрограде 3 (16) июля произошло выступление большевиков.

Большая часть Петроградского гарнизона осталась на стороне правительства, и выступление большевиков не удалось.

Но, к общему возмущению, Временное правительство проявило себя после подавления большевистского выступления преступно слабым.

Ленину, которого можно было легко арестовать, дали возможность скрыться.

Арестованного Троцкого (Бронштейна), по приказанию Временного правительства, из-под ареста освободили.

Предателей и изменников родины, работавших на германские деньги, открыто требовавших прекращения войны и мира «без аннексий и контрибуций», не только не покарали со всей строгостью закона, но дело о них было фактически прекращено, и им предоставлена была возможность вновь начать в Петрограде и в армии их предательски разрушительную работу.

Столь странное и преступное перед родиной попустительство со стороны Временного правительства по отношению к руководителям большевистского движения объясняется прежде всего слишком тесной связью Временного правительства с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов (в числе членов правительства были и такие, как Чернов, члены этого совета) и страхом перед ним.

А совет рабочих и солдатских депутатов в своей массе был настроен явно большевистски.

После подавления большевистского выступления военное министерство несколько ускорило темп своей работы по выработке мер, связанных с восстановлением боеспособности армии.

В ставке также был приготовлен перечень мероприятий, без проведения коих в жизнь считалось невозможным сохранить армию как боевую и дисциплинированную силу.

Первым пунктом в этом перечне было указано на необходимость восстановить смертную казнь в тылу.

Г. Керенский обратился к верховному главнокомандующему с предложением собрать в ставке военный совет, на который пригласить главнокомандующих фронтами и тех генералов, которых генерал Брусилов признает полезным выслушать на заседании. Собрание совета было назначено, если не ошибаюсь на 18 (31) июля.

Кроме главнокомандующих фронтами, на этот совет генерал Брусилов пригласил генералов Алексеева, Рузского, Гурко и Драгомирова.

После мартовского переворота генерал Гурко был назначен главнокомандующим западного фронта вместо генерала Эверта, а генерал Драгомиров — главнокомандующим северного фронта вместо генерала Рузского.

Но оба они на своих местах долго не оставались.

На заседании, бывшем в Петрограде в Зимнем дворце, они оба выступили с резкой критикой деятельности военного министерства и Временного правительства, указывая, что эта деятельность ведет к гибели армии.

Вслед за этим был смещен генерал Гурко, а несколько позднее — генерал Драгомиров.

За два дня до заседания от г. Керенского был по телефону получен запрос о том, кого именно пригласил генерал Брусилов на заседание.

В ответной телеграмме был сообщен перечень приглашенных.

Вслед за этим г. Керенский прислал телеграмму, что он считает недопустимым присутствие на заседании генералов Гурко и Драгомирова; что, если они будут, то он, Керенский, на заседании не будет.

Этот факт очень характерен для оценки личности г. Керенского.

Мелочный, злобный, интересы дела ставивший ниже своего мелкого самолюбия и тщеславия.

Он знал отлично, что оба эти генерала были одними из лучших боевых генералов, выдвинутых войной. Но он также знал, что они оба прямолинейны и резки, и не хотел допустить их присутствия на заседании, дабы избежать резкой критики.

Генерал Брусилов приказал послать соответствующие телеграммы обоим генералам. Но было поздно, так как они уже выехали в Могилев. Пришлось, по приезде их в ставку, им объявить, что г. Керенский не хочет их видеть на заседании.

Накануне заседания генерал Брусилов был чем-то занят и отложил мой доклад до следующего дня.

На другой день, как всегда, в 9 часов утра я пришел к нему с докладом.

Только что начался доклад, как по телефону сообщили, что подходит экстренный поезд, в котором ехал г. Керенский.

Надо сказать, что, после вступления на пост премьер-министра князя Львова, Керенского в ставке еще не было; таким образом, он появился в Могилеве в качестве председателя Временного правительства впервые и, по-видимому, ожидал торжественной встречи.

Генерал Брусилов спросил меня, как быть. Я ответил, что доклад у меня небольшой; но что если он задержится на вокзале, то не успеет прочитать всех необходимых для заседания материалов, которые я ему принес, и он к заседанию может оказаться недостаточно ориентированным.

Генерал Брусилов решил на вокзал не ехать, а послал встретить г. Керенского своего генерала для поручений, который должен был доложить, что верховный главнокомандующий извиняется, что не встретил, но что у него срочная работа, и он просит председателя Временного правительства приехать на заседание к двум часам дня, т. е. к часу, назначенному для заседания самим Керенским.

Окончив доклад, я прошел к себе.

Минут через десять прибегает взволнованный адъютант генерала Брусилова и говорит, что верховный главнокомандующий просит меня срочно придти к нему, так как надо ехать на вокзал.

Надев шапку, выхожу в переднюю и вижу генерала Брусилова, уже спускающегося с лестницы.

— В чем дело?

— Керенский прислал своего адъютанта сказать мне, что он ждет меня в вагоне и просит приехать немедленно. Поедем вместе.

Приезжаем на вокзал.

Адъютант Керенского пошел докладывать и через несколько минут вернулся и сказал, что председатель Временного правительства нас ожидает.

Входим в салон-вагон.

Г. Керенский, небрежно развалившись, сидит на диване.

При нашем входе, едва приподнявшись, здоровается и, обращаясь к генералу Брусилову, говорит: «Генерал, до-

ложите о том, что делается на фронте...» Генерал Брусилов делает краткий доклад.

Г. Керенский выслушав и, сказав, что будет на заседании в два часа дня, нас отпустил.

Впоследствии мне передавали, что г. Керенский, действительно ожидавший почетного караула и торжественной встречи, был страшно обозлен и возмущен тем, что генерал Брусилов осмелился даже не приехать его встретить.

Возмущенно он в присутствии приехавших с ним заявил: «При царе эти генералы не посмели бы себя так нагло держать. А теперь позволяют себе игнорировать председателя правительства! Я им покажу». И послал за генералом Брусиловым.

Из приглашенных на совет не приехал с фронта генерал Корнилов, приславший телеграмму, что боевая обстановка ему не позволяет покинуть фронт.

Заседание проходило под председательством генерала Брусилова.

На заседании очень сильную и яркую речь произнес генерал Деникин.

Речь была настолько резкая, что генерал Брусилов, перебив генерала Деникина, сказал: «нельзя ли короче и затрагивайте только вопросы, касающиеся поднятия боеспособности армии».

Генерал Деникин тогда заявил, что он просит или дать ему возможность высказаться полностью, или он ничего больше говорить не будет.

Генерал Брусилов попросил его продолжать.

Генерал Деникин подробно разобрал отношение Временного правительства и, в частности, военного министерства к армии и офицерскому составу с момента революции, указав, что в развале армии в значительной степени виновно Временное правительство; указал, что оно своим попустительством все время позволяло прессе и агентам большевиков оскорблять корпус офицеров, выставлять их какими-то наемниками, опричниками, врагами солдат и народа; что Временное правительство своим несправедливым отношением к офицерам их превращает в каких-то париев.

Закончил свою речь генерал Деникин указанием, что те, которые сваливают всю вину в развале армии на большевиков, лгут; что прежде всего виноваты те, которые углубляли революцию, и «вы, г-н Керенский»; что боль-

шевики — только черви, которые завелись в ране, нанесенной армии другими.

После речи генерала Деникина Керенский встал и, обращаясь к нему, сказал: «Позвольте мне вас поблагодарить за откровенно и смело высказанное вами мнение».

Это было театрально, но... возразить ничего г. Керенский не сумел.

После генерала Деникина начал говорить генерал Рузский, указывая, что Временному правительству нужно особенно беречь корпус офицеров, на котором всегда зиждилась и будет зиждиться мощь армии, что русские офицеры всегда были близки к солдатам, заботясь о них и разделяя с ними на походе и в бою все радости и горести; что Временное правительство совершает ошибку, потворствуя преследованию офицеров в печати и на всевозможных митингах; что действия Временного правительства могут повести к гибели корпуса офицеров...

Г. Керенский прервал генерала Рузского и в очень резкой форме стал говорить, что нападки на Временное правительство несправедливы; что в развале армии виновны во многом генералы, саботирующие новый строй; генералы, которые при старом режиме не смели возражать, а теперь стараются дискредитировать власть.

Генерал Алексеев, который перед заседанием сказал мне лично, что он отведет душу и скажет всю правду истинным виновникам развала армии, после прерванной речи генерала Рузского сказал: «После того, что сказано генералами Деникиным и Рузским, я ничего добавить не могу. Я всецело присоединяюсь к тому, что они сказали».

Заседание так и не выработало ничего конкретного.

Председатель Временного правительства вместе со своими спутниками уехал в Петроград в тот же день.

На другой день была получена из Петрограда телеграмма, что, согласно постановлению Временного правительства, генерал Брусилов освобождается от должности верховного главнокомандующего, а на его место назначается главнокомандующий юго-западного фронта генерал Корнилов.

До приезда генерала Корнилова мне предлагалось вступить во временное исполнение должности верховного главнокомандующего.

* * *

М. И. Смирнов

Адмирал А. В. Колчак во время революции в Черноморском флоте

Настоящие мои воспоминания касаются одного из периодов деятельности А. В. Колчака — периода революции в Черноморском флоте.

Отличительными чертами А. В. Колчака были: прямота и откровенность характера, чистота убеждений, горячий патриотизм и доверие к сотрудникам. Презрение к личной опасности и ненависть к врагу выделяли его на войне среди окружающих. В отношении к подчиненным адмирал был строг, вспыльчив и в то же время бесконечно отзывчив. Он являлся кумиром молодых офицеров, старшие же не всегда его любили, так как системой его управления военными частями была требовательность и взыскательность по отношению к старшим начальникам и возложение на них ответственности за состояние их частей. Вспыльчивость его характера иногда переходила в резкость, не стесняясь положением лица, с которым он говорил.

Адмирал не принадлежал ни к каким политическим партиям и всей душой ненавидел партийность; он любил деловую работу и презирал демагогию. Он готов был работать со всяким, кто хотел и умел практически работать для пользы отечества и для достижения поставленной адмиралом цели.

А. В. Колчак был предан престолу и отечеству. Известие об отречении государя его крайне огорчило, и он считал, что отечество идет к гибели. Особенной ненавистью с его стороны пользовались социалисты-революционеры, он считал их опасным болезненным наростом на здоровом организме народа. Керенщину и Керенского он стал презирать после первого свидания с последним в начале революции.

В начале февраля я был вызван в Могилев, в штаб верховного главнокомандующего, для совещания по разработке оперативной директивы Черноморскому флоту. По пути в Могилев я остановился на два дня в Петрогра-

де, где мне необходимо было переговорить в различных учреждениях морского министерства по вопросам, касающимся Черноморского флота.

В Петрограде и в Могилеве я был поражен ростом оппозиционного настроения по отношению к правительству, как среди петроградского общества, так и среди гвардейских офицеров и даже в ставке. Вернувшись в Севастополь, я доложил об этом адмиралу Колчаку, высказав мнение, что рост оппозиционного настроения мне представляется весьма опасным.

Главнокомандующий Кавказской армией великий князь Николай Николаевич пригласил адмирала Колчака прибыть к 25 февраля ст. ст. в Батум для обсуждения вопросов, касающихся совместных действий армии и флота на Малоазиатском побережье. Адмирал вышел в Батум на эскадренном миноносце; я сопровождал его. После совещания с великим князем мы были приглашены завтракать к нему в поезд, а затем вернулись на миноносец, где была получена шифрованная телеграмма из Петрограда от графа Капниста с надписью: «Адмиралу Колчаку, прошу расшифровать лично».

Телеграмма гласила: «в Петрограде произошли крупные беспорядки, город в руках мятежников, гарнизон перешел на их сторону».

Обсудив со мной содержание этой телеграммы, адмирал решил не сообщать о ней никому во флоте до получения более подробных сведений. Чтобы нежелательные слухи не проникли во флот и не произвели смятение умов, адмирал немедленно послал секретное телеграфное приказание коменданту Севастопольской крепости (комендант был подчинен командующему флотом) прекратить почтовое и телеграфное сообщение Крымского полуострова с остальной Россией и передавать только телеграммы и почту, адресованные командующему флотом и в его штаб. Вечером адмирал и я обедали у великого князя. После обеда адмирал прошел в личный вагон великого князя и наедине показал ему полученную телеграмму. Великий князь сказал, что он пока не получил никаких известий.

В тот же день ночью мы вышли в Севастополь, куда шли полным ходом. В Севастополе адмирал получил телеграмму от председателя Государственной думы Родзянко, сообщавшую, что вследствие произведенного восставшими ареста членов правительства Государственная дума образовала временный комитет, взявший на себя восста-

новление порядка в столице. Телеграмма заканчивалась призывом к флоту соблюдать спокойствие и продолжать боевую работу и выражала надежду, что все скоро войдет в нормальное русло.

Для выяснения обстановки я пошел на прямой телеграфный провод и вызвал к аппарату в Могилеве из ставки капитана I ранга Бубнова, как заведовавшего в ставке делами Черноморского флота. Капитан Бубнов сообщил мне, что государь выехал в Царское Село, в ставке же обстановка не ясна, поэтому пока директив не дается. Я доложил об этом командующему флотом.

Адмирал собрал совещание старших начальников, которым сообщил полученные известия. Выслушав мнение присутствовавших, адмирал решил отдать приказ по флоту, в котором изложил полученные известия, с призывом ко флоту, портам и населению районов, подчиненных командующему флотом, напрячь все силы для исполнения патриотического долга — успешного завершения войны, соблюдать спокойствие, верить начальникам, которые будут сообщать все полученные верные сведения, и не верить посторонним агитаторам, желающим произвести смуту, чтобы не допустить Россию до победы.

На совещании адмирал дал указание начальникам частей — сообщать подчиненным о ходе событий, чтобы известия о них приходили к командам от их начальников, а не со стороны, от смутьянов и агитаторов; при этом начальники должны разъяснять подчиненным смысл событий и влиять на них в духе патриотизма. Все важные сведения, получаемые в штабе флота, должны немедленно сообщаться старшим начальникам. Редактирование этих сведений и сообщение их дальше было возложено на мою обязанность. Прекращение почтовой и телеграфной связи Крымского полуострова с остальной Россией не могло быть полезно долгое время; наоборот, это могло внести подозрительность и дать почву для агитаторов; поэтому связь была снова восстановлена.

Опубликование первых известий не произвело заметного влияния на команды и на рабочих. Служба шла нормальным порядком, нигде никаких нарушений не происходило. Это явилось новым доказательством того, что революционной подготовки в районе Черного моря не было.

Через два дня пришли первые газеты из Петрограда и Москвы. Появилось много новых газет социалистического направления, призывавших к низвержению государст-

венного строя и разложению дисциплины в армии и во флоте. Во мгновение ока настроение команд изменилось. Начались митинги. Из щелей выползли преступные агитаторы.

На лучшем линейном корабле «Императрица Екатерина II» матросы предъявили командиру требование убрать с корабля офицеров, имеющих немецкие фамилии, обвиняя их в шпионаже в пользу неприятеля. Мичман Фок, прекрасный молодой офицер, был дежурным по нижним помещениям корабля; ночью он обходил помещения и проверял дневальных у артиллерийских погребов. Матросы предъявили ему обвинение, будто он собирался взорвать корабль. Горячий молодой офицер счел себя оскорбленным и застрелился у себя в каюте. Узнав об этом, адмирал Колчак отправился на этот корабль, разъяснил команде глупость и преступность подобных слухов, в результате которых погиб молодой офицер, храбро сражавшийся в течение всей войны. Команда просила прощения и больше не поднимала вопроса об офицерах с немецкими фамилиями.

В тот же день адмирал приказал прислать в помещение Севастопольских казарм по два представителя от каждой роты с кораблей, береговых команд и гарнизона Севастопольской крепости. Этим представителям адмирал сказал речь, указав на необходимость поддержания дисциплины и продолжения войны до победного конца. Речь произвела желаемое впечатление, хотя один матрос пытался выступить с резкими возражениями, которые произвели тяжелое впечатление на адмирала.

По возвращении его на корабль, я доложил ему только что полученную телеграмму об убийстве матросами командующего Балтийским флотом вице-адмирала А. И. Непенина. Это известие еще ухудшило состояние духа А. В. Колчака, и он высказал мысль, что при таком настроении команд и крушении дисциплины нельзя продолжать вести войну, и он не может нести ответственности за боевые действия на море.

К вечеру с некоторых кораблей поступили известия, что настроение команд улучшается, команды заявляют о необходимости воевать и беспрекословно подчиняться офицерам. Казалось, что речь адмирала делегатам от команд оказала хорошее влияние.

Вскоре пришло известие об отречении государя от престола и его прощальный приказ армии и флоту, повелевающий повиноваться новому правительству. При этом

произошел следующий случай. Я находился в телеграфной каюте, когда принимали манифест об отречении государя императора Николая II; по окончании передачи манифеста следовали слова: «сейчас передадим вам манифест Михаила Александровича», и в этот момент где-то на линии порвался провод. Сообщение было прервано на несколько дней. Через сутки известие об отречении государя стало проникать к командам. Создалось опасное положение, дававшее повод к обвинению, что начальство скрывает известие об отречении государя. Так как последние слова телеграфной передачи сообщали о манифесте Михаила Александровича, то адмирал Колчак решил отдать приказ о приведении команд к присяге на верность государю императору Михаилу Александровичу. На некоторых кораблях уже начали приводить к присяге, причем присяга происходила без всяких осложнений. В это время было восстановлено действие прямого провода и получен манифест великого князя Михаила Александровича, но об отречении от престола. Дальнейшее приведение к присяге было приостановлено, — это также не вызвало никаких внешних осложнений.

Итак, не было больше императора, а было Временное правительство. Необходимо было решить, что делать офицерам. Манифест об отречении и прощальный приказ государя не только освобождали воинских чинов от присяги ему, но и повелевали служить новому правительству. В сознании морских офицеров твердо сидела мысль о необходимости довести войну до победного конца и остаться верными союзникам, с которыми мы были связаны кровными узами на поле брани. Некоторая, меньшая часть офицеров даже поддалась мысли, что Временное правительство поведет войну более энергично, чем прежнее. Надо сказать, что последние составы правительства со Штюрмером и Протопоповым были крайне непопулярны. Вместе с тем падение дисциплины и сознание, что от офицеров фактически отпала возможность применения каких-либо мер принуждения по отношению к подчиненным, делали продолжение войны невозможным, если не совершится перемена к старому.

Мне, по должности флаг-капитана оперативной части, работавшему в реальной обстановке и постоянно занимавшемуся учетом имеемых сил и средств и соответствием их с боевыми задачами, — было особенно ясно, что чем дальше идет война, тем необходимо большее напряжение сил и средств, следовательно, — тем строже долж-

на быть дисциплина и ответственность. Поэтому с первых дней революции и с падением дисциплины для меня было ясно, что войну вести нельзя и что она проиграна. Свое мнение я доложил командующему флотом. Адмирал мне ответил, что он его разделяет, но считает своим долгом сделать последнюю попытку к оздоровлению команд, если же она не удастся, то сложит с себя командование флотом.

Психология морских офицеров в это время может быть обрисована следующим образом. Офицеры присягали и служили царю и отечеству. Царь отрекся от престола и повелел служить новому правительству. Царя больше не было, но оставалось отечество. Большинство офицеров флота считало, что без царя отечество погибнет. Что оставалось делать? Могло быть два решения: одно — оставить свои корабли и должности и уйти. Было ясно, что при таком решении часть офицеров останется, но корабли потеряют боеспособность. Это отечества не спасет, а наоборот, даст социалистам оружие для дальнейшей агитации и приблизит наступление анархии. Другое решение — оставаться и во имя родины исполнять служебный долг — противодействовать агитации и стараться влиять на команду, несмотря на сознание безнадежности этого.

Адмирал Колчак решил встать на второй путь. Сомнения в том, что офицеры пойдут за ним, не было.

Сознавая громадную нравственную ответственность за флот и не считая возможным ее нести, если флот откажется исполнять боевые приказы, адмирал послал официальное письмо или телеграмму (точно не помню) верховному главнокомандующему и морскому министру, в котором донес, что он будет командовать флотом до тех пор, пока не наступит одно из следующих трех обстоятельств: 1) отказ какого-либо корабля выйти в море или исполнить боевой приказ; 2) смещение с должности без согласия командующего флотом кого-либо из начальников отдельных частей, вследствие требования сверху или снизу; 3) арест подчиненными своего начальника.

В случае, если наступит одно из этих трех обстоятельств, адмирал сложит с себя командование флотом и спустит свой флаг.

Дисциплинарная власть и меры принуждения по отношению к подчиненным от офицеров отпали. Совершилось это само собой, без всякого приказания, силой событий, в числе которых одним из главных был знаменитый приказ № 1 совета солдатских и рабочих депутатов.

Было ясно, что если бы офицер попробовал наложить дисциплинарное взыскание на матроса, то не было сил для приведения этого наказания в исполнение. Для поддержания хотя бы внешнего порядка необходимо было приложить все старания для усиления нравственного влияния офицеров на команду.

Адмирал приказал всем офицерам флота, Севастопольского порта и Севастопольской крепости собраться в морском собрании. Там А. В. Колчак произнес речь, в которой очертил офицерам положение, указал на падение дисциплины и на фактическую невозможность вернуть офицерам дисциплинарную власть. Но необходимо продолжать войну. В целях воздействия на команду и поддержания в ней патриотического духа адмирал призывал офицеров удвоить работу, теснее сплотиться с матросами, разъяснить им смысл событий и удерживать их от занятия политикой. После речи адмирала произнес речь командующий Черноморской (пехотной) дивизией генерал-майор Свечин. Он сказал, что вследствие отсутствия императорской власти долг патриота обязывает его исполнять приказания новой единой российской власти — комитета Государственной думы и что во имя блага родины офицеры не должны допустить проявления какой-либо другой государственной власти, стоящей рядом и не подчиненной первой. Поэтому, если образовавшийся в Петрограде совет рабочих и солдатских депутатов будет претендовать на власть, то он со своей дивизией пойдет на Петроград и разгонит совет. После генерала Свечина говорил начальник штаба его же дивизии, подполковник генерального штаба А. И. Верховский (впоследствии — военный министр в кабинете Керенского). Он очень витиевато говорил, что совершилось великое чудо — единение всех классов населения, что рабочий (!) — Керенский и помещик — князь Львов стали рядом для спасения отечества, что совет рабочих и солдатских депутатов состоит из таких же русских патриотов, как и все мы и т. п.

Две эти речи были характерны, как выразители мировоззрения двух групп офицеров. Я наблюдал за впечатлениями каждой из этих групп. Свечину выражали одобрение кадровые офицеры, из которых состояло огромное большинство морских офицеров и — меньшинство сухопутных. Верховскому выражали одобрение офицеры военного времени. После речи Верховского появились на эстраде морского собрания матрос, солдат и рабочий и заявили, что они выбраны на митинге и уполномочены

заявить офицерам, что матросы, солдаты и рабочие считают необходимым энергичное продолжение войны с неприятелем, что они будут повиноваться офицерам и соблюдать дисциплину. Они просят офицеров выбрать своих представителей и прибыть на совещание с выборными представителями матросов, солдат и рабочих для выработки мероприятий к поддержанию дисциплины. Речи этих трех человек были приветствуемы собравшимися, и тут же были произведены выборы по одному офицеру от каждой части флота, порта и крепости для переговоров с представителями команд и рабочих. К этому времени на площади перед морским собранием собралась большая толпа, состоящая преимущественно из матросов и солдат; толпа устроила шумную овацию адмиралу Колчаку и офицерам. Казалось, что некоторое, временное спокойствие и порядок установлены.

Представители офицеров и команд собрались на совещание. На нем было установлено, что применение дисциплинарной власти офицерами фактически невозможно, но все сознавали необходимость поддержания дисциплины и исполнения приказаний начальников.

Тут же было выработано положение о комитетах в морских и береговых частях, подчиненных командующему Черноморским флотом. На каждом корабле, в каждой береговой части флота, а также в каждом полку должен был быть избран комитет, в который офицеры выбирали своих представителей, а матросы и солдаты — своих. Задачами комитетов являлись: 1) поддержание дисциплины в частях, 2) заботы о продовольствии и обмундировании, 3) заботы о просвещении людей. Никакими оперативными и боевыми вопросами комитеты не имели права заниматься.

Постановления комитетов вступали в силу только после утверждения их командиром части. В случае неутверждения постановление передается для рассмотрения в Центральный Исполнительный комитет совета депутатов флота, армии и рабочих Черноморского флота и затем восходит до командующего флотом. Вышеуказанный Центральный исполнительный комитет занимается теми же вопросами, но в отношении всего флота его решения не приводятся в исполнение без утверждения командующим флотом.

Этот проект был представлен на утверждение адмирала Колчака и утвержден им. В разговоре со мной он высказал мнение, что утвердить проект необходимо, как вре-

менную меру, ибо в противном случае внезапно выросшая пропасть между офицерами и командой еще больше расширится. В то же время адмирал считал, что вести войну при постоянном существовании комитетов нельзя, и если не наступит такое событие, при котором возможно будет распустить комитеты и вернуть дисциплинарную власть офицерам, то продолжение войны будет невозможным.

На следующий день утром в Севастополь прибыл член Государственной думы социал-демократ Туляков. По его словам, он приехал, чтобы «устроить» революцию в Черноморском флоте, так как до него дошли слухи, что Черноморский флот не признает Временного правительства. Это был не «интеллигент», а настоящий рабочий. Увиденный им порядок и спокойствие поразили его, и он объезжал все части и говорил патриотические речи, призывая матросов слушаться своих офицеров. Вскоре из Севастополя отправились в Петроград выбранные офицеры, матросы, солдаты и рабочие с целью заявить Временному правительству о своей верности. Среди них были капитан I ранга Немитц и подполковник генерального штаба Верховский, — оба они мгновенно сделались «преданными революции».

Через несколько дней адмирал Колчак вышел в море с частью флота; я сопровождал его. В море на кораблях все было в порядке, будто революции не было. Служба неслась исправно.

В судовые комитеты и в центральный комитет были выбраны лучшие, наиболее патриотичные люди из команды. Председателем центрального комитета был избран летчик, вольноопределяющийся Сафонов, — человек хорошо настроенный, стремившийся к порядку и к поддержанию дисциплины. Он обладал красноречием и хорошо влиял на остальных.

В первый период своего существования комитет действительно содействовал поддержанию порядка. Члены его вели пропаганду за продолжение войны, устраивали процессии с плакатами «Война до победы», «Босфор и Дарданеллы России» и т. п. Красных флагов в Севастополе не было поднято. С самого первого дня революции в городе были подняты национальные флаги, но почему-то перевернутые, т. е. верхняя полоса была красной, а нижняя белой.

По возвращении депутации, ездившей в Петроград, выяснилось, что некоторые ее члены посетили не только Временное правительство, но приветствовали и совет сол-

датских и рабочих депутатов. Вернувшись в Севастополь, они восхваляли этот совет.

Капитан I ранга Немитц побывал у военного и морского министра Гучкова. Из слов Немитца было видно, что Гучков принял какие-то решения относительно состава старших начальников в Черноморском флоте. Как я узнал впоследствии, Немитц говорил Гучкову, что адмирал Колчак пользуется большим влиянием и любовью во флоте, но остальные старшие начальники никуда не годятся и необходимо их сменить.

Действительно, почти одновременно с возвращением Немитца в Севастополь пришла телеграмма от Гучкова адмиралу Колчаку, в которой Гучков настойчиво просил заменить начальника штаба флота Погуляева другим офицером. Мотивировалось это тем, что оставление на ответственных должностях офицеров свиты невозможно и может вызвать нежелательные последствия. Адмирал ответил, что находит мотивы для смены Погуляева недостаточными. Тогда пришла вторая телеграмма от Гучкова с указанием, что в совете солдатских и рабочих депутатов имеются документы, делающие невозможным оставление Погуляева на ответственной должности. Адмирал Колчак принужден был согласиться на смену адмирала Погуляева и предложил мне принять должность начальника штаба.

С этого времени для меня началась тягостная работа. Ни о какой организации или боевой работе нечего было и думать. Флот постепенно разлагался. Постоянно днем и ночью приходили известия о непорядках в различных частях флота. Обычным приемом успокоения являлась посылка в часть, где происходят непорядки, дежурных членов центрального исполнительного комитета для «уговаривания». Результаты обычно достигались благоприятные. Наиболее частая причина непорядков заключалась в желании матросов разделить между собой казенные деньги или запасы обмундирования и провизии. Члены комитета в большинстве случаев действовали добросовестно. С каждым днем члены комитета заметно правели, в то же время было очевидно падение их авторитета среди матросов и солдат, все более и более распускавшихся.

В середине марта министр Гучков вызвал адмирала Колчака в Петроград и затем в Псков на совещание главнокомандующих и командующих армиями, состоявшееся под председательством генерала Алексеева. В Петрогра-

де адмирал был во время первой демонстрации гарнизона против Временного правительства вследствие ноты Милюкова о целях войны. Во время демонстрации адмирал находился в заседании Временного правительства, куда он был приглашен.

В Севастополь адмирал вернулся с убеждением, что российская армия уже тогда совершенно потеряла боеспособность, а Временное правительство фактически не имеет никакой власти. Члены его бессильны и неспособны для управления государством. Особенно плохое впечатление у него осталось о Керенском, которого адмирал коротко охарактеризовал: «болтливый гимназист».

Немедленно по прибытии адмирал решил поделиться своими впечатлениями с офицерами и командой, с целью вызвать в них патриотический подъем. Адмирал произнес две речи, полных вдохновения, сжатых, ярких, заставлявших сердце сжиматься от ужасного положения, в котором находится Россия. Одну речь он произнес в морском собрании для офицеров, другую — в помещении цирка, куда были собраны представители команд. Позже эти речи были напечатаны московской городской думой в нескольких миллионах экземпляров и распространены по всей России.

Слова адмирала произвели громадное впечатление. Многие слушавшие рыдали. Команды решили выбрать из своей среды лучших людей в числе сначала 500 чел. (впоследствии дополненных еще 250 чел.) для посылки на фронт, чтобы воздействовать на солдат как словами, так и личным примером. Не знаю, имела ли существенное влияние на фронте «черноморская делегация». Слышал только, что некоторые ее участники пали смертью храбрых в боях на суше.

Но на состояние Черноморского флота посылка этой делегации, сравнительно не большой, отразилась очень плохо. Уехали лучшие, наиболее убежденные и патриотичные люди. Многие из них принадлежали к составу комитетов, где они успели втянуться в работу и поправеть. Пришлось произвести добавочные выборы в комитеты, после чего состав их значительно ухудшился. После отъезда делегации большевики обратили больше внимания на Черноморский флот и прислали своих специальных агентов-разлагателей, и разрушительная работа пошла ускоренным темпом. Хотя внешний порядок соблюдался, но чувствовалось, что все может внезапно сокрушиться.

Не помню точно, в какой день, но, кажется, 20 мая вечером, ко мне в каюту на «Георгие Победоносце» без доклада вошли матрос, солдат и рабочий, с красно-белыми повязками на рукаве, означавшими, что они принадлежат к центральному исполнительному комитету. Один из них показал мне письменное постановление комитета об аресте помощника по хозяйственной части капитана над Севастопольским портом генерал-майора Петрова и потребовал от меня отдачи приказания о производстве ареста. На вопрос о причинах такого желания комитета мне ответили, что генерал Петров отказался исполнить требование комитета о распределении запасов кожи между матросами. Я сказал, что не вижу причины для ареста, ибо за хозяйство порта несет ответственность генерал Петров и сложить ее, подчинившись требованиям комитета, он не имеет права. После этого прибывшие члены комитета потребовали в грубой форме провести их к командующему флотом. Я ответил, что адмирал не находится на корабле. На это один из них сказал: «Да что тут разговаривать, мы сами поедем к командующему флотом на квартиру».

Все трое вышли из моей каюты. Я сейчас же предупредил адмирала по телефону, что к нему едут эти три человека. Адмирал выслушал их доклад, отказался дать приказание об аресте генерала Петрова и прогнал их от себя. Затем адмирал вызвал к себе лейтенанта Левговта, члена комитета, и предложил ему воздействовать на комитет в смысле отмены решения.

Я же вызвал к себе одного матроса и одного рабочего, известных мне своим разумным влиянием на комитет, и просил их воздействовать на своих коллег. Вскоре мне сообщили по телефону, что комитет собрался для обсуждения вопроса, и после принятия решения несколько его членов прибудут к командующему флотом для доклада. Адмирал вызвал меня к себе на квартиру. Около полуночи к нему прибыли три члена комитета, во главе с лейтенантом Левговтом, и вторично потребовали ареста генерала Петрова. Адмирал ответил, что он категорически не разрешает арестовать генерала Петрова, а Левговту указал на его поведение, как недостойное офицерского звания.

Через некоторое время после ухода от адмирала членов комитета было получено известие, что генерал Петров все же ими арестован.

До этого в Черноморском флоте не было ни одного

случая ареста офицеров матросами. Адмирал сейчас же послал телеграмму председателю Временного правительства князю Львову о том, что вследствие самочинных действий комитета он не может нести ответственность за Черноморский флот и просит отдать приказание о сдаче им должности командующего флотом следующему по старшинству флагману. Такая же телеграмма была послана верховному главнокомандующему генералу Алексееву.

На следующий день были получены две телеграммы: одна, адресованная центральному комитету; в ней приказывалось освободить генерала Петрова и сообщалось, что для разбора дела в Севастополь едет один из членов правительства; действия комитета были названы контрреволюционными. Телеграмма состояла из трескучих фраз, столь милых сердцам членов Временного правительства. Другая телеграмма была адресована адмиралу Колчаку; в ней заключалась просьба остаться в должности и обещание Временного правительства оказать содействие водворению порядка. Обе телеграммы были подписаны князям Львовым и Керенским.

Генерал Петров был немедленно освобожден. Чувствовалось, что телеграммы Временного правительства все же возымели действие на матросов, было заметно, что они присмирели и подтянулись. Я убежден, что если бы Временное правительство в тот момент воспользовалось этим случаем и уничтожило бы комитеты или хотя бы сократило их компетенцию, то это было бы проведено в жизнь. Лучшие из матросов понимали, что дело так продолжаться не может, и тяготились комитетами; если бы Временное правительство выказало твердость, то эти лучшие элементы безусловно одержали бы верх над худшими. Но Временное правительство было в руках Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов, и действия его были парализованы.

Вскоре было получено известие, что в Севастополь через Одессу едет Керенский. Адмирал Колчак вышел на миноносце в Одессу, чтобы встретить Керенского и в пути настроить его на принятие решительных мер. Однако Керенский не настроился.

По прибытии в Севастополь Керенский побывал на нескольких кораблях, здоровался за руку с матросами, стоящими в строю, говорил им много речей, призывая к продолжению войны и сохранению дисциплины во имя «защиты революции». Был в центральном исполнитель-

ном комитете, где, вместо того, чтобы сократить его, он лишь похваливал членов комитета за исполнение распоряжения Временного правительства об освобождении генерала Петрова.

Вечером в морском собрании Керенский произнес несколько речей собравшимся офицерам. Надо отдать справедливость, что его речи производили действие на матросов и вообще на людей, мало развитых и неспособных к самостоятельному и логическому мышлению. Но это действие через короткое время исчезало, так как слушатель забывал содержание речи, потому что смысла в ней было мало, — был лишь фонтан трескучих фраз. На меня Керенский произвел впечатление неврастеника, человека неуравновешенного и увлеченного демагогией.

После отъезда Керенского наступило временное спокойствие, но чувствовалось, что оно кратковременно. Адмирал Колчак говорил, что связь и доверие между ним и командами пропали. Он выразился, что Керенский просил его и комитет «забыть прошлое и поцеловаться, но ни он, ни комитет целоваться не склонны». Председатель комитета вольноопределяющийся Сафонов во время происшествия с генералом Петровым в Севастополе не был и вернулся туда уже после происшествия; возможно, что при нем комитет не встал бы на такой путь.

В начале июня в Севастополь прибыло несколько матросов балтийского флота с «мандатами» от центрального комитета балтийского флота. Вид у них был разбойничий — с лохматыми волосами, фуражками набекрень, — все они почему-то носили темные очки. Было ясно, что это большевистские агенты. Они стали собирать митинги и открыто вести убийственную пропаганду. Содержание их речей было таково: «Товарищи черноморцы, что вы сделали для революции? У вас всюду старый режим, вами командует командующий флотом, бывший еще при царе! Вы слушаетесь офицеров! Ваши корабли ходят в море и подходят к неприятельским берегам, чтобы их аннексировать. Народ решил заключить мир без аннексий, а ваш командующий флотом посылает вас завоевывать неприятельские берега! Вот мы, балтийцы, послужили для революции, мы убили своего командующего флотом и многих офицеров!»

Вначале эта пропаганда не действовала, она казалась чрезмерно крайней. Члены черноморского комитета следили за прибывшими, не допускали их самостоятельно устраивать митинги и на митингах говорили речи против

балтийских делегатов. Конечно, действительной мерой был бы арест их, но в нашем распоряжении не было силы, которая смогла бы произвести арест. Я неоднократно вызывал к себе членов Черноморского центрального комитета и убеждал их арестовать и выслать из Крыма балтийских делегатов. Члены комитета уверяли меня, что опасности нет, что матросы на митингах высмеивают их, и они скоро сами уедут. На деле оказалось не так. — Балтийские делегаты переменили тактику, — они сообщали комитету, что приедут на митинг, устроенный в определенном месте, сами же ехали в другое место, собирали толпу и там говорили преступные речи. Эта новая тактика имела полный успех. Через два-три дня положение круто изменилось, матросы окончательно развратились, и центральный комитет потерял всякое влияние на них.

8 июня во дворе Севастопольского флотского экипажа собрался митинг, на котором присутствовало тысяч 15 людей. Балтийские матросы агитировали и наэлектризовали толпу. Толпа требовала отобрания оружия от офицеров и ареста их. Вечером пришло известие, что на берегу начались аресты офицеров.

Адмирал Колчак решил сделать последнюю попытку повлиять на команды. Утром 9 июня он поехал в помещение цирка, где было назначено собрание делегатов команд. Адмирал намеревался воззвать к их патриотизму. Когда он взошел на возвышение, где сидели члены комитета, никто не встал. Затем адмирал сказал председателю, что желает обратиться к командам, но председатель ответил, что не может предоставить слова. Адмирал считал дальнейшее пребывание на собрании для себя унизительным и уехал на корабль.

Около 2 часов дня было получено известие, что на некоторых кораблях матросы отобрали от офицеров оружие, а через несколько времени была принята радиотелеграмма, что делегатское собрание приказывает судовым и полковым комитетам отобрать от офицеров оружие. Стало ясно, что центральный комитет и делегатское собрание плыли по течению и подчинялись требованиям митинга, бушевавшего в помещении экипажа. Это был первый случай пользования матросами радиотелеграфом без разрешения начальства.

Адмирал решил, что мер борьбы больше нет, так как на половине кораблей оружие уже отобрано и сопротивление на остальных кораблях поведет только к убийству

офицеров. Поэтому он дал радиотелеграмму кораблям, находившимся на Севастопольском рейде, приблизительно следующего содержания: «Мятежные матросы потребовали отобрания от офицеров оружия. Этим наносится оскорбление верным и доблестным сынам родины, три года сражавшимся с грозным врагом. Сопротивление невозможно, поэтому, во избежании кровопролития, предлагаю офицерам не сопротивляться» (цитирую по памяти).

Затем адмирал приказал поставить команду «Георгия Победоносца» во фронт и сказал ей вдохновенную, патриотическую речь, в которой указал гибельные для родины последствия поступков команд, разъяснил оскорбительность для офицеров отобрания от них оружия, сказал, что даже японцы не отобрали от него георгиевское оружие после сдачи Порт-Артура, а они, русские люди, с которыми он делил тягости и опасности войны, наносят ему такое оскорбление. Но он своего оружия им не отдаст.

Прекрасная речь адмирала произвела мало впечатления на распропагандированных людей. Лучшие из числа служивших в штабе матросов рассказывали мне, что после речи адмирала матросы обсуждали ее, говоря: «чего он рассердился, зачем ему сабля, все равно она висит у него в шкафу, и он одевает ее только на парадах. Для парадов мы будем ее ему возвращать!» И с такими людьми Керенский и многие другие мечтали о какой-то «сознательной дисциплине» без наказаний, не существующей нигде в мире!

Через некоторое время члены судового комитета «Георгия Победоносца» пришли в каюту к адмиралу все же с требованием сдачи им оружия. Адмирал прогнал их из каюты, затем вышел на палубу и бросил свою саблю в море. После этого он вызвал к себе старшего из флагманов Лукина и сказал ему, что он передает ему командование флотом. Свой флаг командующего флотом он приказал спустить, согласно морскому обычаю, в полночь. А. В. Колчак послал телеграмму князю Львову, что вследствие происшедшего бунта он не считает возможным продолжать командование флотом и передает командование контр-адмиралу Лукину.

Вечером прибыла на корабль комиссия из 12 членов центрального исполнительного комитета и сообщила, что комитет постановил, что адмирал Колчак должен сдать должность командующего флотом, а я — должность начальника штаба, а комиссия должна присутствовать при

передаче должностей. Адмирал сказал, что он уже сдал должность контр-адмиралу Лукину; я вызвал следующего по старшинству в штабе флаг-капитана распорядительной части капитана I ранга Зарина и передал ему должность начальника штаба. При передаче присутствовали члены комитета, — они искали каких-то контрреволюционных документов. Конечно, в присутствии членов комитета я никаких оперативных секретов своему заместителю не рассказывал.

Вскоре после передачи должностей адмиралом была получена телеграмма за подписями князя Львова и Керенского, смысл которой был следующий:

1. Вице-адмиралу Колчаку и капитану I ранга Смирнову, допустившим явный бунт в Черноморском флоте, немедленно прибыть в Петроград для доклада Временному правительству.

2. Контр-адмиралу Лукину вступить во временное командование Черноморским флотом и восстановить порядок.

3. Для расследования обстоятельств бунта и наказания виновных назначается комиссия, выезжающая из Петрограда в Севастополь.

Адмирал считал себя оскорбленным содержанием телеграммы. Поставленное ему и мне пред лицом всей России обвинение в допущении бунта было явно нелепым и не свидетельствовало о сознании долга и чести лицами, подписавшими телеграмму. С самого начала революции Временное правительство возглавило бунт и делало все от него зависящее, чтобы этот бунт «углубить». Мы всеми мерами боролись против распространения этого бунта во вверенных нам частях, но без поддержки со стороны правительства эта борьба была безуспешна.

В ту же ночь мы получили сведения, что многотысячный митинг, бушевавший на берегу, требовал ареста адмирала Колчака и моего, но там оказался один из наших сторонников — солдат Царскосельского гарнизона Киселев, человек огромного роста, внушительного вида, умевший говорить толпе. Видя, что на митинге страсти разгорелись, Киселев предложил передать вопрос об аресте на обсуждение делегатского собрания, которое заседало в это же время в цирке. Делегатское собрание постановило собрать на следующий день, когда страсти успокоятся, представителей от всех судовых и полковых комитетов для решения вопроса о нашем аресте.

На другой день утром адмирал Колчак переехал на берег в свою квартиру, а я съехал с корабля в гостиницу Киста. К вечеру пришло известие, что собравшиеся представители комитетов большинством голосов решили нас не арестовывать.

Около полночи адмирал Колчак и я выехали в Петроград. На вокзале нас провожали главный командир Севастопольского порта вице-адмирал Васильковский и многие офицеры флота, устроившие адмиралу при отходе поезда овацию. Один из провожавших крикнул: «Мужество и доблесть, сознание долга и чести во все времена служили украшением народов. Ура!»

Адмирал был в крайне подавленном настроении духа. В вагоне он мне сказал, что обвинение, поставленное ему Временным правительством, его глубоко оскорбило, что ему тяжко сознание, что он, которому было вверено командование флотом, смещен по требованию взбунтовавшихся матросов, что он не может примириться с мыслью, что не будет принимать активного участия в великой войне, от исхода которой зависит все будущее России. Я старался успокоить адмирала; мне самому было тяжело за Россию, но Временное правительство я глубоко презирал.

В том же поезде, в котором мы ехали, ехал также в отдельном вагоне американский адмирал Глэкон, прибывший накануне в Севастополь с целью переговорить с адмиралом Колчаком о возможном содействии нам со стороны американского флота, который мог бы быть послан в Средиземное море для действия против Дарданелл.

Глэкон подъезжал к Севастополю, когда там уже произошел бунт. Увидев, что на вокзале его встречают матрос, солдат, и рабочий, он сказал состоявшему при нем русскому морскому офицеру, лейтенанту Д. Н. Федотову: «Кажется, нам здесь нечего делать; распорядитесь о прицепке моего вагона к поезду, уходящему вечером».

Адмирал Глэкон спросил адмирала Колчака, не согласится ли он прибыть в Америку, так как возможно, что американский флот будет действовать против Дарданелл для открытия сообщения с Россией; в этом случае опыт адмирала мог бы быть использован. Адмирал согласился на это.

Через несколько дней после прибытия в Петроград адмирал Колчак и я были приглашены в заседание Временного правительства в Мариинский дворец для доклада о событиях в Черноморском флоте.

В заседании адмирал высказал, что вооруженные силы, вследствие допущенной правительством антигосударственной агитации, разлагаются и более непригодны для войны, что имеется только два выхода — или заключить мир, или прекратить преступную агитацию, ввести смертную казнь и привести вооруженные силы в порядок.

После речи адмирала князь Львов предложил высказаться мне. Я сказал, что правительство обвиняет нас в допущении бунта, но бунт допустили не мы, а само правительство и, в частности, сам военный и морской министр Керенский. Я указал, что по предыдущей службе я имел случай плавать на английском и французском флотах, принадлежащих так называемым демократическим странам; у них дисциплина строже и наказание жесточе, чем у нас было при императорском режиме; что вооруженная сила основана на строгом законе и строгих взысканиях за проступки. Сознательная же дисциплина, провозглашенная Временным правительством, недоступна массам, она возможна только для единичных высококультурных людей. За столом в заседании против меня сидели Керенский, Чернов и Церетели. После моих слов князь Львов сказал, обращаясь к адмиралу Колчаку и ко мне: «Благодарю вас, мы обсудим». Мы вышли из заседания.

Через несколько дней я узнал, что Керенский в наказание за дерзкие слова, произнесенные мною в заседании совета министров, приказал сослать меня в Каспийское море, но адмирал Колчак вступился за меня, и это распоряжение было отменено.

Популярность адмирала Колчака в России была очень высока. Какие-то неизвестные организации разбрасывали по городу листки с призывом к военной диктатуре, выдвигая в диктаторы адмирала. В листках писалось: «Суворовскими знаменами не отмахиваются от мух. Пусть князь Львов передаст власть адмиралу Колчаку» и т. п.

Вскоре состоялось постановление Временного правительства о командировании адмирала Колчака в Соединенные Штаты Америки. Постановление это было вызвано просьбой чрезвычайного посла Америки сенатора Рут. Многие общественные организации патриотического направления приглашали адмирала принять участие в их работе. Надеясь быть полезным в России, адмирал не хотел ехать в Америку и затягивал отъезд насколько возможно. Однако Керенскому не нравилась популяр-

ность адмирала, и он решил от него избавиться. Однажды, придя домой, адмирал застал там курьера с собственноручным приказом Керенского — немедленно отбыть в Соединенные Штаты Америки и донести, отчего он до сего времени не выехал.

27 июля 1917 г. адмирал Колчак отбыл за границу.

* * *

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

А. Вырубова-Танеева. ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 5

Княгиня Палей. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 21

В. В. Шульгин. ДНИ 65

Н. П. Карабчевский. ЧТО ГЛАЗА МОИ ВИДЕЛИ . . 173

А. Ф. Керенский. ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ И ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 192

А. И. Деникин. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АРМИЯ 194

А. С. Лукомский. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 211

М. И. Смирнов. АДМИРАЛ А. В. КОЛЧАК ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ В ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ . . . 243

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В ближайшее время в Перми выйдет второй том сборника «Белоэмигранты о большевиках и пролетарской революции».

В нем Вы познакомитесь с воспоминаниями П. Н. Милюкова, лидера кадетской партии, меньшевика Ф. И. Дана, генералов А. И. Деникина и П. Н. Краснова и последнего премьер-министра Временного правительства А. Ф. Керенского об октябрьской революции 1917 года.